
18+
ПЕПЕЛЬНЫЙ ОБЕТ
ЕВГЕНИЙ КНЯЗЕВ

Евгений Князев

Пепельный обет

«Автор»
2026

Князев Е. Г.

Пепельный обет / Е. Г. Князев — «Автор», 2026

Сто лет Орден Пепла жжёт одержимых на кострах Вальдмарка. Сто лет люди верят, что огонь очищает.Эйрик держал факел тысячу двести четырнадцать раз. Его вынесли младенцем из сожжённой деревни и вырастили в обители, а в восемь лет выжгли на его груди круг с пламенем. Он не задаёт вопросов. До того дня, когда в клейме начинает шептать голос и называет имя следующей жертвы раньше, чем её назовёт Орден.Травница с болот слышит мёртвых. Мёртвые говорят, что Пламя - ложь. Чтобы снять её со столба, Эйрику придётся убить своих братьев, пройти через Висельный лес и узнать, что лежит под Неугасимым огнём.Голос в клейме готов дать ему силу. Он всегда говорит правду. И каждый раз берёт плату: одно лицо из памяти.

© Князев Е. Г., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Факел 7
Глава 1. Пепел над Гримом 7
Глава 2. Имя 19
Глава 3. Болотная травница 31
Глава 4. Отец Морвен 44
Глава 5. Костёр в Вельде 57
Гл 69
Конец ознакомительного фрагмента. 70

Пепельный обет

Евгений Князев

Пепельный обет

Роман

Содержание

Часть первая. Факел
Глава 1. Пепел над Гримом
Глава 2. Имя
Глава 3. Болотная травница
Глава 4. Отец Морвен
Глава 5. Костёр в Вельде
Глава 6. Беглый меч
Часть вторая. Цепь
Глава 7. Лес висельников
Глава 8. Слепой Гаррет
Глава 9. Пепельная соль
Глава 10. Цена силы
Глава 11. Брат против брата
Глава 12. Обитель Молчания
Глава 13. Сеть
Глава 14. Суд пепла
Часть третья. Обет
Глава 15. Пустота
Глава 16. Вера Кассиана
Глава 17. Очищение
Глава 18. Пепельная башня
Глава 19. Отец и сын
Глава 20. Обет
Карта Вальдмарка


БАЛЬДМАРК
ПЕПЕЛЬНЫЙ ОБЕТ
Плакальщики
ОБИТЕЛЬ МОЛЧАНИЯ
Стая
ВДОВИЙ ПЕРЕВАЛ
ПЕПЕЛЬНАЯ БАШНЯ
Перевернутая невеста
ПЕЩЕРА ГАРРЕТА
ВИСЕЛЬНЫЙ ЛЕС
ЧЁРНАЯ РЕКА
Вельда
мёртвый дуб
ВЕЛЬДЕ
ОЛЬМ
ОБИТЕЛЬ СВЯТОГО ПЛАМЕНИ
ВАЛЬДБУРГ
ГРИМ
Скальный полоз
ХОЛЬЦ
«ТРИ ПОДКОВЫ»
БРОД НА ОЛЬШАНКЕ
ЕЛЬНЯ
УГОЛЬНАЯ ЯМА
МШАНИК
ПОЛЕ ПЕПЛА
Вдовий цвет
СОЛТМАРК
гать
ЗЕМЛИ ОРДЕНА ПЕПЛА
Спасть

Часть первая. Факел

Глава 1. Пепел над Гримом

Что держит человека на ногах, когда он делает то, чего нельзя простить? Вера, что так нужно? Привычка, которая сильнее веры? Или страх остановиться и посмотреть на собственные руки? Говорят, у каждого в груди есть огонь, и он греет или сжигает, смотря кто его носит. Но бывает и так, что огонь носят не в груди, а в руке, на конце факела, и тогда он греет других. А тот, кто держит, остаётся в холоде. Об этом не говорят на проповедях. Об этом вообще не говорят.

Снег в Вальдмарке давно перестал быть белым.

Он ложился на поля серой коркой, похожей на старую золу из печи, и хрустел под копытами так, будто под ним были не стебли прошлогодней травы, а чьи-то тонкие кости. Старики говорили, что до Пепельной чумы снег был чистым, как молоко, и дети ели его горстями, но стариков становилось всё меньше, а дети, родившиеся после чумы, не знали другого снега и не спрашивали. Они просто не брали его в рот.

Эйрик ехал в голове колонны, чуть позади брата Ансельма, и смотрел на дорогу так, как смотрят на работу, которую делали тысячу раз. Колея была неглубокой, разбитой телегами ещё осенью и схваченной первыми морозами. По обе стороны тянулись поля, разделённые низкими каменными оградами, а за полями чернел лес. Над лесом висело небо цвета мокрой холстины. Солнце где-то было, но его никто не видел уже третью неделю.

Конь под ним, вороной мерин по кличке Уголь, шёл ровно и угрюмо, пуская из ноздрей пар. Эйрик держал повод одной рукой. Вторая лежала на бедре, рядом с рукоятью меча, не потому что он ждал нападения, а потому что так было привычнее. Руки у него были большие, тяжёлые, с узловатыми пальцами, и кожа на них от запястий до костяшек была стянута старыми ожогами. Ожоги давно не болели. Они просто были, как были на нём шрамы, как был рост, из-за которого ему подбирали коней на голову выше обычных, как было клеймо на груди под кольчугой и толстой стёганой курткой.

Клеймо ныло на холоде. Оно всегда ныло, когда мороз пробирался под одежду, тупо и глубоко, словно под кожей тлел маленький уголёк, который кто-то забыл затоптать. Эйрик не обращал на это внимания. Пятнадцать лет назад, когда ему выжгли знак Обета, круг с языком пламени внутри, он кричал так, что потом три дня не мог говорить. Теперь он не помнил того крика. Он помнил только, что после него стало тише.

— Видишь дым? — спросил Кассиан, подъехав сбоку.

Эйрик посмотрел туда, куда указывал друг. Над холмом впереди поднимались тонкие серые нити, прямые в безветренном воздухе, как натянутые струны.

— Печи, — сказал Эйрик. — Топят.

— Знают, что мы едем.

— Все всегда знают.

Кассиан усмехнулся и поправил капюшон. Он был на два года моложе Эйрика, ниже его на голову и шире в лице, с рыжеватой щетиной и светлыми глазами, которые смотрели на мир так, будто мир пока ещё мог его удивить. Его тоже нашли ребёнком, только не на пепелище, а у ворот обители, в корзине из-под репы, и братья любили шутить, что Кассиана Пламя прислало с урожаем. Кассиан смеялся вместе со всеми. Он вообще легко смеялся, и это было одной из причин, почему Эйрик держался рядом с ним все эти годы: рядом с Кассианом не нужно было ничего говорить, он говорил за двоих.

— Брат Ансельм считает, что здесь гнездо, — сказал Кассиан чуть тише, кивнув на прямую спину монаха впереди. — Шесть за одну зиму в деревне на сорок дворов. Такого давно не было.

— Брат Ансельм всегда считает, что гнездо.

— А ты?

Эйрик пожал плечами. Кольчуга под курткой глухо звякнула.

— Я ничего не считаю. Мне говорят, куда идти.

Кассиан посмотрел на него внимательно, как смотрел иногда, когда хотел сказать что-то важное и не знал, как начать. Потом передумал, хлопнул Эйрика по плечу и придержал коня, отставая к повозке.

Повозка шла в середине колонны. Это была обычная крестьянская телега, на которую Орден поставил клетку из толстых дубовых брусьев, скреплённых железом. Клетку сколотили давно, ещё до того, как Эйрика взяли в клеймёные, и брусья почернели и залоснились от рук, которые за них держались. Сейчас клетка была пуста. Её везли за теми, кого сегодня предстояло забрать из погреба старосты, где дознаватели держали их третий день.

Позади повозки ехали четверо клеймёных из обители Святого Факела: братья Удо и Хальм, молчаливый северянин Ренн и совсем молодой Тиль, которому выжгли знак только прошлой весной и который до сих пор дотрагивался до груди, когда думал, что никто не видит. Замыкали колонну двое послушников в серых рясах. Они вели в поводу мулов, нагруженных бочонками со смолой и связками сухого хвороста. Хворост везли с собой всегда. Деревенские дрова бывали сырыми, а сырые дрова горят долго.

Эйрик знал это так же, как знал, сколько шагов делает Уголь от одного верстового камня до другого. Он знал, сколько смолы нужно на одного человека, чтобы огонь взялся сразу и дым был густым и чёрным. Он знал, с какой стороны ставить столб, чтобы ветер уносил дым от толпы, а не в неё. Он знал, что женщины кричат дольше мужчин, а старики почти не кричат, и что самое страшное не крик, а тот миг перед ним, когда человек ещё не верит, что это происходит с ним. Он знал всё это и никогда об этом не думал. Знать и думать были разными вещами. Знать было работой. Думать было лишним.

Дорога пошла вверх, на холм. Уголь налёг на подъём, и Эйрик чуть наклонился вперёд в седле. Когда они поднялись, внизу открылась деревня.

Грим лежал в неглубокой ложбине между двумя холмами, вдоль замёрзшего ручья. Сорок дворов, может, чуть больше, низкие дома под соломенными и дерновыми крышами, огороды, обнесённые плетнями, маленькая каменная часовня Пламени с почерневшим от сажи шпилем. Над крышами стояли те самые прямые струны дыма. За деревней, на пологом склоне, темнели остатки чего-то большого: обугленные столбы, торчащие из снега, как гнилые зубы, и провалившийся фундамент, поросший мёртвым бурьяном.

Эйрик смотрел на эти столбы дольше, чем следовало.

— Старый Грим, — сказал брат Ансельм, не оборачиваясь. Голос у него был сухой и ровный, как будто он читал вслух опись имущества. — Сгорел тридцать лет назад. Тогда Тлен прошёл здесь первой волной. Деревню отстроили ниже, у воды.

— Я знаю, — сказал Эйрик.

Ансельм всё-таки обернулся. Он был худ, бледен и стар той особой монастырской старостью, которая делает человека похожим на высохшую ветку: тронь, и сломается, но никто не трогает. Глаза у него были бесцветные, внимательные, с красными прожилками от бессонницы и чтения при свече.

— Да, — сказал он. — Ты знаешь. Магистр Морвен вынес тебя оттуда. Я помню.

Он отвернулся и тронул коня. Колонна начала спускаться.

Эйрик ехал и смотрел на обугленные столбы, пока они не скрылись за крышами. Он ждал, что почувствует что-нибудь. Не боль, не тоску, он не знал, какое чувство полагается человеку,

который возвращается на место, где его нашли в пепле. Но хоть что-то. Он прислушался к себе, как прислушиваются к пустому дому: нет ли где шагов. Шагов не было. Было только клеймо, ноющее на холоде, и привычная тяжесть меча на бедре.

Ему рассказывали эту историю столько раз, что она стала гладкой, как речной камень. Зима, тридцать лет назад. Тлен пришёл в Грим ночью, и одержимые подожгли собственные дома. Отряд Ордена прибыл на рассвете, когда тушить было уже нечего. Отец Морвен, тогда ещё не магистр, а простой брат-дознаватель, шёл по пепелищу и услышал плач. Под обрушенной балкой, в пустом котле для белья, лежал младенец, завёрнутый в обгоревшее одеяло, живой, без единого ожога. Морвен поднял его и сказал: «Пламя оставило его себе». Так и стало принято говорить в обители: Эйрика оставило себе Пламя.

Он не помнил ничего из этого. Никто не помнит себя младенцем. Но иногда, очень редко, ему снилось женское лицо в огне, и он никак не мог разглядеть его, потому что огонь всё время вставал между ними. Он никому об этом не рассказывал. Сны были лишними, как и мысли.

Деревня встретила их тишиной.

Люди стояли у плетней и в дверях, закутанные в платки и овчины, и смотрели, как колонна въезжает на единственную улицу. Никто не вышел навстречу, никто не поклонился, никто не заговорил. Дети прятались за юбками матерей, и матери прижимали их к себе так крепко, словно колонна могла забрать и их. Собака на цепи у крайнего дома зашлась лаем, и хозяин, бородатый мужик в рваном тулупе, ударил её палкой, чтобы замолчала. Собака взвизгнула и забилась под крыльцо.

Эйрик ехал мимо этих лиц и видел их так, как видел всегда: серые, обветренные, худые, со впалыми щеками и глазами, в которых был страх. Страх был в каждом. У кого-то он прятался за угрюмостью, у кого-то за любопытством, у кого-то за ненавистью, но он был всегда, и Эйрик давно перестал его замечать, как перестают замечать запах в доме, где живут долго.

Только один взгляд задержал его.

У колодца в середине улицы стоял мальчик лет восьми, в слишком большой для него шапке, сползающей на глаза. Он не прятался. Он стоял, опустив руки, и смотрел прямо на Эйрика. Не на коня, не на меч, не на клетку, которую везли следом, а прямо ему в лицо. В этом взгляде не было страха. В нём был вопрос, простой и тяжёлый, как камень, который ребёнок держит в ладони и не знает, бросить его или нет.

Эйрик отвёл глаза первым. Он сам удивился этому.

На площади перед часовней их ждал староста. Звали его Йорген. Это был грузный мужчина лет пятидесяти, с широкими ладонями пахаря и красным лицом, которое от холода и страха пошло пятнами. Рядом с ним стояли двое дознавателей Ордена, приехавших в Грим ещё неделю назад: брат Лотар, кругленький и румяный, похожий скорее на трактирщика, чем на монаха, и брат Сибальд, высокий, с длинным лошадиным лицом и пальцами, вечно испачканными чернилами.

— Да хранит вас Пламя, братья, — сказал староста и поклонился так низко, что Эйрик увидел плешь у него на макушке.

— И тебя, сын мой, — ответил Ансельм, спешиваясь. Послушник подхватил повод его коня. — Где они?

— В погребе. Как велели. Кормили, поили. Никто их не трогал.

— Это хорошо, — сказал Ансельм. — Их нельзя трогать. Тлен переходит через руки.

Староста сглотнул и вытер ладони о тулуп, хотя ни к кому не прикасался.

Брат Лотар шагнул вперёд и протянул Ансельму свиток, перевязанный серой тесьмой.

— Шестеро, брат, — сказал он, и румяное лицо его стало серьёзным. — Все признаны. Все с признаками. Мельник Ганс с женой, вдова Брунхильд, пастух Улле, кузнецова дочь Лена и парень, Матис, сын бондаря. Свидетельства соседей, осмотр глаз, речи во сне. Всё записано.

Ансельм развязал тесьму и стал читать, щурясь. Ветер шевелил края свитка. Эйрик спешился, отдал повод Тилю и встал чуть позади, как стоял всегда. Он не смотрел на свиток. Он смотрел на площадь.

Столб уже стоял. Его вкопали посредине, перед часовней, крепкий ошкуренный ствол молодой сосны, вбитый глубоко в мёрзлую землю. Вокруг него крестьяне сложили дрова: аккуратно, поленницей, как складывают на зиму. Поленница была высокой, почти по грудь. Шесть цепей с ошейниками и кольцами для рук висели на крюках, вбитых в ствол на разной высоте. Цепи привезли дознаватели. Дрова принесли сами жители. Так было всегда: Орден не просил, жители приносили. Каждый двор по охапке. Кто не приносил, о том потом шептались соседи.

Эйрик обошёл поленницу, трогая поленья сапогом. Сухие, берёзовые и сосновые, хорошо наколотые. Кто-то старался. Он поднял голову и посмотрел на небо, потом на дым из труб, чтобы понять, куда тянет воздух. Тянуло к востоку, к ручью. Толпа встанет с запада, у часовни. Хорошо.

— Удо, Хальм, — сказал он негромко, и двое клеймёных подошли. — Смолу на западную сторону, больше, чем обычно. Хворост внутрь, к самому столбу.

— Больше смолы? — переспросил Хальм, рыжий и рябой, с перебитым носом. — Брат Ансельм говорил экономить. До весны ещё три деревни.

— Больше, — повторил Эйрик.

Хальм посмотрел на него, потом на Удо, пожал плечами и пошёл к мулам.

Эйрик не стал объяснять. Он никогда не объяснял этого никому, даже Кассиану. Если смолы много, огонь берётся сразу и даёт густой чёрный дым. Дым поднимается быстрее пламени. Человек у столба вдыхает его раньше, чем огонь доходит до ног, и теряет сознание, а иногда и умирает, не успев почувствовать самого страшного. Это не было милосердием. Эйрик не считал себя милосердным. Это было просто правильно сделанной работой, а работу он привык делать правильно.

— Эйрик, — позвал Ансельм. — Подойди.

Он подошёл. Ансельм держал раскрытый свиток и смотрел на него поверх строк.

— Шестеро, — сказал монах. — Ты знаешь порядок. Сначала чтение приговора, потом молитва очищения, потом огонь. Сегодня огонь держишь ты.

— Я всегда держу огонь.

— Сегодня особенно, — сказал Ансельм и опустил глаза в свиток. — Здесь, в Гриме. Пламя оставило тебя себе на этом месте. Люди должны это видеть. Пусть знают, что из пепла рождается служение, а не грех.

Эйрик ничего не ответил. Ансельм и не ждал ответа. Он свернул свиток и отдал его Лотару.

— Ведите, — сказал он старосте.

Погреб старосты был вырыт под амбаром, и в него вела крутая лестница из почерневших досок. Когда Хальм откинул тяжёлую крышку, снизу пахнуло холодом, мокрой землёй и нечистотами. Внизу было темно. Кто-то тихо плакал, кто-то бормотал, и в этом бормотании не было слов, только звуки, похожие на речь, как бывает похоже на речь журчание воды подо льдом.

Эйрик спустился первым, с фонарём в руке.

Их держали в разных углах, привязанными верёвками к столбам, подпиравшим потолок. Мельник Ганс, огромный, рыхлый, с белыми от муки, въевшейся в кожу за всю жизнь, бровями, сидел, уронив голову на грудь, и раскачивался. Когда свет упал на него, он поднял лицо, и Эйрик увидел его глаза: мутно-серые, как вода в луже, без зрачков, без блеска. Мельник смотрел сквозь фонарь и шевелил губами. Его жена, маленькая, высохшая, сидела рядом и держала его за рукав. Её глаза были такими же.

Вдова Брунхильд, старуха с редкими седыми волосами, заплетёнными в тонкую косичку, лежала на соломе и, казалось, спала. Пастух Улле, немой от рождения, тощий парень с длин-

ными руками, бился затылком о столб, медленно, ритмично, и на дереве за ним уже темнело пятно. Кузнецова дочь Лена, девушка лет шестнадцати, сидела, обхватив колени, и смотрела в пол. Когда Эйрик поднёс к ней фонарь, она вздрогнула и закрыла лицо руками. Между пальцами он увидел серое.

Тлен был настоящим. Эйрик видел его сотни раз и знал его наизусть, как знал свой меч: серость в глазах, сначала по краю радужки, потом всё глубже, пока не съедала зрачок; шёпот на языке, которого не знал ни один книжник Ордена; приступы ярости, когда одержимый бросался на тех, кого любил больше всего, и рвал их руками и зубами. Эйрик видел мать, задушившую собственного ребёнка, и мужа, который отгрыз жене пальцы, а потом сидел над ней и плакал серыми глазами. Он видел, как Тлен переходит по деревне от дома к дому, как пожар по сухой траве. Он знал, зачем нужен огонь. Огонь останавливал это. Это было не верой, а простым знанием, как знание о том, что гнилую ногу отрезают.

Шестой сидел у самой лестницы, в тени, и Эйрик сначала прошёл мимо него.

Матис, сын бондаря, был молод, лет двадцати, светловолос, широкоплеч, с крупными руками, исцарапанными от работы с обручами и клёпками. Он сидел, прислонившись спиной к стене, связанный по рукам и ногам, и смотрел на Эйрика, когда тот обернулся с фонарём.

Глаза у него были голубые.

Обычные, ясные, испуганные голубые глаза. Без единой серой нити по краю.

— Я не одержимый, — сказал Матис хрипло. Голос у него сорвался, и он откашлялся и повторил тише: — Я не одержимый. Господин. Я не одержимый. Посмотрите на меня. Посмотрите.

Эйрик посмотрел. Он поднёс фонарь ближе, к самому лицу парня, и Матис зажмурился от света, а потом открыл глаза широко, как ребёнок, который хочет показать, что не прячет под языком украденную конфету.

Голубые.

— Это Ингрид, — зашептал Матис быстро, сбиваясь. — Ингрид, соседская. Я к ней сватался, а её отец отказал, а потом она пошла за Ханнеса, а Ханнес... Ханнес сказал брату Лотару, что я ночью говорю чужим языком. А я не говорю. Я сплю, как все. Спросите мать. Спросите мою мать, господин, она скажет...

— Брат Лотар осматривал тебя? — спросил Эйрик.

— Три раза. Три раза смотрел. Сказал, что серость в глубине. Что её не видно, но она есть. Что так бывает в начале. Господин, её нет. Её нет!

Эйрик смотрел на него ещё мгновение. Потом опустил фонарь.

Так бывало. Он слышал об этом от дознавателей: Тлен иногда прячется. Сначала он в голове, а уж потом в глазах. Дознаватель с опытом может увидеть его в глубине раньше, чем он выйдет наружу. Брат Лотар был дознавателем двадцать лет. Эйрик был клеймёным пятнадцать. Дознаватель видел. Клеймёный держал факел. Каждый делал своё.

— Встань, — сказал Эйрик и разрезал ножом верёвку у него на ногах.

— Господин...

— Встань.

Матис встал. Его трясло. Эйрик взял его за плечо, не грубо, но так, что парень сразу понял: вырываться бесполезно, и повёл к лестнице.

Наверху их ждала толпа.

Казалось, вся деревня пришла на площадь, хотя никто никого не звал. Люди стояли плотно, плечом к плечу, тихо, и от их дыхания над толпой поднимался лёгкий пар. Когда из амбара вывели первого одержимого, мельника Ганса, которого вели под руки Удо и Ренн, толпа качнулась назад, как трава под ветром, и тут же замерла. Мельник шёл, волоча ноги, и бормотал, и его серые глаза бессмысленно скользили по лицам. Кто-то в толпе всхлипнул. Женщина в синем платке закрыла рот ладонью.

Их выводили по одному. Жена мельника не плакала, только тянулась к мужу, и её пришлось нести, потому что она не могла идти. Вдова Брунхильд вдруг очнулась на свету, открыла серые глаза и засмеялась, высоко и пронзительно, и смеялась до самого столба. Немого Улле вёл Кассиан, и Улле шёл покорно, улыбаясь чему-то своему, и Кассиан что-то говорил ему вполголоса, Эйрик не слышал что, но видел, как шевелятся губы друга. Кассиан всегда говорил с ними. Он говорил, что они должны слышать слово Пламени до конца, даже если не понимают его. Эйрик никогда с ними не говорил.

Лена шла сама. Тонкая, в одной рубахе, босая на снегу, она шла, не поднимая головы, и только у самого столба вдруг обернулась и крикнула в толпу:

— Мама!

Из толпы никто не ответил. Женщина в синем платке, та самая, закрывшая рот рукой, опустилась на колени прямо в снег, и двое мужчин подняли её и оттащили назад.

Матиса Эйрик вёл сам.

Парень больше не говорил. Он шёл, глядя перед собой, и только губы у него дрожали. Когда они проходили мимо толпы, кто-то крикнул: «Матис!», и Эйрик краем глаза увидел пожилую женщину с простым круглым лицом, которую держали за руки двое соседей. Мать. Она не кричала больше, только смотрела, и Матис не повернул к ней головы. Эйрик понял почему. Если бы повернул, то не смог бы дойти.

У столба они надели ошейники и замкнули кольца на руках. Шестеро, спинами к дереву, лицами наружу, к толпе, так было положено: одержимый должен видеть тех, кого он предал. Железо щёлкало, цепи звенели. Мельник дёрнулся раз, когда ошейник сомкнулся у него на горле, и затих. Брунхильд всё смеялась. Улле улыбался. Лена закрыла глаза. Матис смотрел прямо перед собой, туда, где стояла мать.

Эйрик застегнул его ошейник последним. Пальцы у него не дрогнули. Они никогда не дрожали.

Он отступил на три шага, к западной стороне поленницы, где Хальм уже разлил смолу, и встал. Тиль подал ему факел, незажжённый, обмотанный просмолённой паклей. Эйрик взял его в левую руку. Правую положил на рукоять меча.

Брат Ансельм вышел вперёд, развернул свиток и начал читать.

Он читал долго. Сначала имена, потом свидетельства, потом признаки, потом слова закона, которые Эйрик знал наизусть и которые никто в толпе не понимал до конца, потому что в них было слишком много старых слов: «очищение», «сосуд», «огнь милосердия», «душа, возвращаемая Пламени». Голос Ансельма был ровен, сух и негромок, но слышен в каждом углу площади, потому что площадь молчала так, как молчат только перед смертью. Даже Брунхильд перестала смеяться и только тихо всхлипывала, как ребёнок после долгого плача.

Эйрик не слушал. Он смотрел на толпу.

Мальчик в большой шапке стоял в первом ряду. Как он туда пробрался, Эйрик не заметил. Мальчик стоял у самого края, где кончались люди и начинался снег перед поленницей, и смотрел. Не на столб, не на одержимых, не на брата Ансельма с его свитком. На Эйрика. Прямо на него, снизу вверх, всё с тем же вопросом во взгляде.

«Чего ты хочешь?» — подумал Эйрик раздражённо и сразу удивился тому, что подумал. Он не думал о толпе. Он никогда не думал о толпе. Толпа была частью площади, как столб и поленница.

Мальчик не опустил глаз.

«Кто-то должен держать факел», — подумал Эйрик. Эта мысль пришла сама, привычная, гладкая, как рукоять меча, стёртая ладонью. Он носил её с собой пятнадцать лет и доставал, когда было нужно, и она всегда помогала. Кто-то должен. Если не он, то другой. Если никто, то Тлен пойдёт дальше, от дома к дому, и тогда этот мальчик будет следующим, и его мать, и

все они. Огонь не судит. Огонь просто делает то, для чего нужен. Факел ни в чём не виноват. Рука, держащая факел, ни в чём не виновата. Виноват Тлен.

Мальчик смотрел.

— ...и да примет Пламя души их, очищенные огнём, — закончил Ансельм и поднял руку. — Помолимся.

Толпа опустилась на колени. Не вся, кто-то стоял, окаменев, но большинство опустились, и мать Матиса тоже, хотя её всё ещё держали за руки. Ансельм начал молитву очищения, и толпа подхватила её глухим нестройным бормотанием, в котором слов было не разобрать.

Мальчик не опустился на колени.

Кассиан подошёл к Эйрику и протянул ему горящую лучину. Огонёк дрожал на конце, маленький, жёлтый, почти игрушечный.

— Пламя с тобой, брат, — сказал Кассиан тихо, как говорил всегда.

— И с тобой, — ответил Эйрик.

Он поднёс лучину к факелу. Пакля занялась сразу, с шипением, огонь лизнул смолу и вспыхнул, рыжий и жадный, и Эйрик почувствовал на лице его жар. Клеймо на груди, которое всю дорогу ныло от холода, вдруг потеплело. Это тоже было всегда. Огонь рядом, и клеймо теплеет, будто узнаёт своего. Братья говорили, что это благословение. Эйрик не знал, что это. Он просто знал, что так бывает.

Молитва кончилась. Ансельм опустил руку.

Эйрик шагнул вперёд и бросил факел в смолу.

Огонь взялся так, как он и рассчитывал. Смола вспыхнула широкой рыжей полосой по всей западной стороне, и почти сразу от неё повалил густой, жирный, чёрный дым. Он поднялся стеной и накрыл столб, и шестерых у столба, и Эйрик успел увидеть, как Лена открыла глаза и как Матис рванулся в цепях, а потом дым закрыл их всех.

Крик начался не сразу. Сначала был треск, громкий, сухой, как будто ломали тысячу веток разом. Потом кто-то закашлялся, страшно, со свистом. Потом закричала женщина, жена мельника, тонко и бесконечно, на одной ноте. Потом смех Брунхильд, который превратился в вой. Потом голос, мужской, молодой, хриплый от дыма:

— Мама! Мама!

Эйрик стоял.

Жар бил в лицо. Он стоял ближе всех, ближе, чем полагалось по уставу, потому что если стоять близко, видно, когда дым делает своё дело, и можно подбросить смолы туда, где огонь слабее. Он стоял и смотрел в дым, и щурился, и слёзы от дыма текли по щекам, и он не вытирал их, потому что это были не слёзы, а дым. Он слышал, как крики слабеют. Один, потом другой. Мужской голос, звавший мать, захлебнулся кашлем и затих. Жена мельника кричала дольше всех.

Потом стало тихо, и был только огонь.

Огонь гудел, ровно и мощно, как ветер в печной трубе. Пламя поднялось выше столба, рыжее, с чёрными языками, и в его глубине уже ничего нельзя было разглядеть. Запах пришёл позже. Эйрик знал его, как знал всё остальное: сладковатый, тяжёлый, жирный запах, который въедается в одежду, в волосы, в кожу и потом держится неделю, сколько ни мойся. Толпа отшатнулась, когда он до неё дошёл. Кого-то вырвало. Кто-то заплакал навзрыд.

Эйрик стоял и смотрел в огонь, и клеймо на его груди было горячим, как никогда.

Оно не просто теплело. Оно горело, как будто его выжгли заново, только что, сегодня, и Эйрик прижал ладонь к груди сквозь кольчугу и куртку и почувствовал жар даже через железо и стёганку. Ему показалось, что огонь в поленнице на миг стал ярче, что он подался к нему, как пёс к хозяину, и Эйрик отступил на шаг. Жар отпустил так же внезапно, как пришёл.

Он огляделся. Никто ничего не заметил. Братья стояли на своих местах. Ансельм читал последнюю молитву, закрыв глаза. Кассиан смотрел в огонь, и губы его шевелились.

Мальчика в первом ряду не было.

Эйрик поискал его глазами и не нашёл. Там, где он стоял, был только истоптанный серый снег.

Огонь горел до вечера.

Так было положено: огонь не тушат, огонь должен закончить сам. Братья стояли вокруг поленницы по очереди, сменяясь каждый час, чтобы никто из деревенских не подошёл и не попытался забрать то, что осталось. Такое случалось. Матери иногда пытались. Однажды, в деревне под Ольмом, отец одержимой девочки бросился в огонь, чтобы вытащить её, и сгорел вместе с ней, и с тех пор Орден ставил стражу.

Толпа разошлась быстро. Люди уходили молча, не глядя друг на друга, и закрывали за собой двери, и над деревней снова потянулись прямые струны печного дыма, только теперь их было больше, и они смешивались с тем, другим дымом, который поднимался с площади, тяжёлый и чёрный. Мать Матиса увели под руки. Эйрик видел, как она оглянулась у поворота, на миг, и как один из соседей резко развернул её за плечо, чтобы не смотрела.

Эйрик стоял первую смену. Потом вторую, хотя его никто об этом не просил. Кассиан подошёл к нему, когда начало темнеть, и встал рядом.

— Иди поешь, — сказал он. — Староста накрыл в доме. Брат Ансельм уже там.

— Не хочу.

— Ты никогда не хочешь после. Всё равно иди.

Эйрик не ответил. Огонь в поленнице опал, превратившись в широкое багровое ложе углей, над которым дрожал горячий воздух. Столб ещё стоял, обугленный, чёрный, с обвисшими цепями. Того, что было у столба, Эйрик не разглядывал. Он никогда не разглядывал.

— Ты видел парня? — спросил он вдруг.

Кассиан посмотрел на него.

— Какого парня?

— Бондарёва сына. Матиса. Ты видел его глаза?

Кассиан помолчал. Потом сказал осторожно:

— Брат Лотар осматривал его три раза.

— Я спросил, видел ли ты его глаза.

— Нет, — сказал Кассиан. — Не видел. Я вёл Улле. — Он помолчал ещё и добавил тише: — Эйрик, Тлен прячется. Ты знаешь это лучше меня. Сначала голова, потом глаза. Лотар видит то, чего не видим мы. Это его дар. Наш дар другой.

— Держать факел.

— Да. — Кассиан повернулся к нему всем телом. — И это тоже дар, брат. Ты думаешь, это легко? Каждый может читать свитки. Не каждый может стоять там, где стоишь ты, и не дрогнуть. Пламя знает, кого выбирать.

Эйрик смотрел на угли.

— А если Лотар ошибся?

Он сам не знал, зачем спросил. Слова вышли раньше, чем он успел их остановить, и повисли в холодном воздухе между ними, и Эйрик почувствовал что-то похожее на стыд, как будто сказал при друге что-то непристойное.

Кассиан долго молчал. Потом заговорил, медленно, подбирая слова, как подбирают камни для брода:

— Тогда душа его ушла к Пламени чистой. Огонь не губит невинных, Эйрик. Он их очищает и принимает. Невинному огонь не страшен, страшен он только Тлену. Если Лотар ошибся, Матис сейчас в Пламени, и ему там лучше, чем было бы здесь, в этой деревне, на этом сером снегу. А если не ошибся, мы спасли сорок дворов. В обоих случаях мы не сделали зла.

Он говорил так, как говорил всегда, тепло и уверенно, и в его голосе не было ни тени сомнения, и Эйрик в который раз позавидовал ему. У Кассиана был ответ на всё. Ответ был тёплым, как огонь в печи, и Кассиан держал над ним руки и грелся.

— Ты в это веришь, — сказал Эйрик. Это был не вопрос.

— А ты нет?

Эйрик подумал. Он честно попытался найти в себе веру и не нашёл ни её, ни неверия. Там, где у Кассиана горел огонь, у него было пусто и тихо, как в погребе, из которого вывели всех.

— Я не думаю об этом, — сказал он наконец. — Мне говорят, куда идти. Я иду. Мне дают факел. Я держу. Кто-то должен держать.

Кассиан положил ладонь ему на плечо и сжал. Ладонь у него была тёплой даже сквозь кожаную перчатку.

— Ты должен верить, брат, — сказал он тихо, и в голосе его впервые за весь разговор появилась тревога. — Слышишь? Должен. Без веры мы просто люди, которые жгут других людей. С верой мы — Пламя. Без веры мы убийцы.

— А с верой кто?

Кассиан отдёрнул руку. Посмотрел на Эйрика так, будто видел его впервые. Потом рассмеялся, коротко и не очень весело, и снова хлопнул его по плечу.

— С верой — братья. Иди поешь. Ты устал и говоришь глупости. Завтра забудешь.

Он ушёл к дому старосты. Эйрик остался.

Темнело быстро. Серое небо стало сизым, потом чёрным, и угли на площади светились в темноте, как огромный открытый глаз. Тиль пришёл сменить его и молча встал рядом. Эйрик не ушёл. Они простояли так ещё полчаса, и Тиль несколько раз трогал грудь там, где под курткой было клеймо, и косился на Эйрика, словно хотел спросить о чём-то и не решался.

— Говори, — сказал Эйрик, не поворачивая головы.

Тиль вздрогнул.

— Брат Эйрик... — Он сглотнул. — У тебя клеймо... горячее было? Когда ты бросил факел?

Эйрик повернулся и посмотрел на него. Тиль был совсем мальчишкой, лет девятнадцать, тощий, с длинной шеей и острым кадыком, который ходил вверх-вниз, когда он волновался. Глаза у него были испуганные и честные.

— А у тебя?

— У меня... да, — прошептал Тиль. — Как будто огонь внутри. Как будто кто-то дышит. Я думал... брат Удо говорит, это благословение. Что Пламя радуется, когда принимает души. Это правда?

Эйрик долго смотрел на него. Ему хотелось сказать: «Не знаю». Это было бы честно. Но Тилю нужен был не честный ответ. Тилю нужен был тёплый, такой, как у Кассиана, чтобы держать над ним руки.

— Правда, — сказал Эйрик. — Это благословение. Привыкнешь.

Тиль выдохнул, и плечи у него опустились. Эйрик отвернулся к углям.

Он соврал. Он понял это, только когда сказал. Он соврал мальчишке, который ему доверял, и сделал это легко, без запинки, так же легко, как бросал факел в смолу. И ничего не почувствовал. Только клеймо ныло на холоде, как всегда.

Когда угли подёрнулись серым, послушники принесли от мулов два мешка соли. Эйрик взял лопату и стал засыпать кострище, ровно, слой за слоем, от краёв к столбу, пока багровое не скрылось под белым и не перестало дымить. Соль шипела на углях и трескалась. Так делали всегда, после каждого костра, по уставу: пепел одержимых должен лечь под солью. Зачем, Эйрик не знал. Он делал это пятнадцать лет и ни разу не спросил. Устав не объясняют. Устав исполняют.

* * *

Его остановили на пути к дому старосты.

Улица была пуста, все сидели по домам, и только из-под ставней пробивался кое-где жёлтый свет лучин. Снег под ногами скрипел. Эйрик шёл медленно, потому что не хотел ни есть, ни спать, ни говорить с Ансельмом, и почти поравнялся с крайним домом у ручья, когда из темноты у плетня его окликнули.

— Пепельный.

Голос был старческий, надтреснутый, женский.

Эйрик остановился и положил руку на меч. Из тени плетня вышла старуха, маленькая, сгорбленная, закутанная в тёмный платок так, что видны были только нос и глаза. Глаза были светлые, слезящиеся, без серого. Она опиралась на палку и смотрела на него снизу вверх, задрав голову, потому что он был на две головы выше.

— Ты ведь тот самый, — сказала она. — Пепельный мальчик. Которого монах вынес. Я тебя узнала. По рукам.

Эйрик молчал.

— Ты не помнишь, — продолжала старуха, и в голосе её не было ни страха, ни злобы, только странное, почти жалостливое любопытство. — Где тебе помнить. А я помню. Мне тогда было тридцать, у меня было трое детей. Мы жили на краю, у рощи. Потому и уцелели. Я ту ночь помню, как вчерашнюю.

— Иди домой, старая, — сказал Эйрик. — Холодно.

— Холодно, — согласилась она. — А тогда было жарко. Тогда весь склон горел. — Она подошла ближе, совсем близко, и подняла к нему лицо. — Только ты слушай, пепельный. Тлена в старом Гриме не было. Ни одного серого глаза. Я их всех знала, всех до одного. Никто не шептал, никто не бросался. А ночью пришли люди в серых рясах. Пришли с факелами, и...

— Гертруда!

Голос раздался сзади, резкий и сухой. Эйрик обернулся. По улице к ним шёл брат Ансельм, без шапки, в одной рясе, и полы её мели снег. За ним, отставая, спешил староста Йорген с фонарём. Свет фонаря прыгал по снегу и по стенам домов.

Старуха отшатнулась. Лицо её, и так бледное, стало совсем белым, а губы сжались в тонкую линию.

— Иди домой, Гертруда, — сказал Ансельм, подойдя. Он сказал это мягко, почти ласково, и от этой ласковости у Эйрика по спине прошёл холод. — Ты старая, ты устала, ты путаешь. Тот пожар был тридцать лет назад. Память у стариков слабеет, это не грех. Но говорить неправду о братьях Ордена — грех. Ты ведь не хочешь, чтобы брат Лотар осмотрел тебя ещё раз? Ты ведь помнишь, что он говорил: серость бывает в глубине, её не видно сразу.

Старуха молчала. Палка в её руке дрожала.

— Иди домой, — повторил Ансельм.

Она постояла ещё мгновение, глядя не на Ансельма, а на Эйрика. Потом повернулась и пошла к дому у ручья, медленно, тяжело опираясь на палку. Дверь за ней закрылась без стука.

Ансельм проводил её глазами, потом повернулся к Эйрику.

— Старая Гертруда, — сказал он, как будто извиняясь. — Мне говорили о ней. Её муж и двое сыновей сгорели тогда. С тех пор она никак не может простить Пламени. Ищет виноватых. Это понятно. Горе делает с людьми страшные вещи. — Он помолчал и добавил: — Не держи её слова в голове, Эйрик. Они не стоят того места, которое займут.

— Я и не держу, — сказал Эйрик.

— Хорошо. — Ансельм кивнул и улыбнулся одними губами. — Пойдём. Ты должен поесть. Завтра долгая дорога обратно в обитель. Магистр Морвен будет рад узнать, что в Гриме всё прошло как подобает. Он всегда спрашивает о тебе.

Они пошли к дому старосты. Йорген светил им фонарём и всё время оглядывался на дом у ручья, и Эйрик видел, как у него трясётся рука.

В доме было жарко и душно. Жена старосты, полная молчаливая женщина с красными от слёз глазами, поставила на стол чугунок с ячменной кашей, хлеб, кувшин пива и ушла за занавеску, где плакал ребёнок. Ансельм сел во главе стола, сложил руки, коротко помолился и только потом взял ложку. Ел он мало и медленно, как едят люди, для которых еда давно стала обязанностью, а не радостью.

— Ты задаёшь вопросы, Эйрик, — сказал он, не поднимая глаз от миски. — Брат Кассиан говорил мне.

Эйрик посмотрел на друга. Кассиан, сидевший напротив, покраснел и уткнулся в кружку.

— Он беспокоится о тебе, — продолжал Ансельм. — И правильно делает. Вопросы — это трещина. Сначала маленькая, в волос. Потом в неё затекает вода, а зимой вода замерзает, и камень лопается. Я видел, как ломались братья крепче тебя.

— Я спросил только про глаза бондарёва сына, — сказал Эйрик.

— Знаю. — Ансельм положил ложку. — И я тебе отвечу, хотя ответ тебе не понравится. Да, Лотар мог ошибиться. Лотар человек. Люди ошибаются. Может быть, в этом парне не было Тлена. Может быть, его оговорил соперник. Такое случается.

Кассиан поднял голову и уставился на монаха. Брат Лотар, сидевший у очага, перестал жевать.

— Тогда зачем... — начал Эйрик.

— Затем, — перебил Ансельм, и голос его остался таким же сухим и ровным, — что сорок дворов видели сегодня огонь. Сорок дворов вернулись по домам и заперли двери. Завтра каждый из них посмотрит в глаза своему соседу, своей жене, своему ребёнку и спросит себя: нет ли там серого? И если увидит, придёт к нам сам. Не через месяц, когда Тлен съест полдеревни, а сразу. Страх — это ограда, Эйрик. Люди думают, что ограду строят из камня. Её строят из страха. Пока люди боятся, они живы. Перестанут бояться, и Тлен пройдёт по ним, как огонь по сухой траве.

— А парень?

— Парень, — повторил Ансельм и впервые поднял на него глаза. Глаза были усталыми и спокойными. — Парень — цена ограды. Одна жизнь, может быть, невинная, за сорок дворов, которые будут смотреть в оба. Ты хочешь, чтобы я сказал, что это справедливо? Не скажу. Справедливость — роскошь сытых королевств. В Вальдмарке нет справедливости. Есть порядок или есть Тлен. Третьего не дано.

Он снова взял ложку.

— Так говорит магистр Морвен, — добавил он. — И он прав. Ты поймёшь это, когда станешь старше. Или не поймёшь, и тогда тебе будет тяжело. Но факел ты всё равно будешь держать. Потому что больше некому.

Эйрик ничего не ответил. Он смотрел на Ансельма и думал о том, что монах, наверное, прав. В его словах не было ни одной трещины, они были гладкими и тяжёлыми, как камни в старой стене. Опереться на них было можно. Но холод от них шёл такой же, как от камня.

Он не стал есть. Он сел у очага, привалившись спиной к стене, и слушал, как Ансельм и Лотар обсуждают, сколько смолы осталось и в какую деревню ехать после Солтмарка. Кассиан уснул за столом, положив голову на руки. Остальные братья спали на полу, на соломе, вповалку, и храпели. Огонь в очаге потрескивал, и клеймо на груди Эйрика медленно отогревалось.

«Тлена в старом Гриме не было».

Он не держал эти слова в голове. Он просто сидел и смотрел в огонь, а они сидели рядом, как незваный гость, который не уходит, даже если с ним не говорить.

* * *

Он уснул под утро и увидел её снова.

Женщину в огне. Она стояла за стеной пламени, и пламя было высоким, выше человеческого роста, рыжим, с чёрными языками, точь-в-точь как сегодня на площади. Она что-то говорила ему, протягивала руки, и он тянулся к ней, но огонь вставал между ними, и он не мог разглядеть её лица. Только руки. Тонкие, белые, с длинными пальцами. На безымянном пальце левой руки было тонкое медное кольцо.

Он никогда раньше не видел кольца. Он видел этот сон двадцать или тридцать раз за свою жизнь, и кольца не было никогда.

Он шагнул к ней, прямо в огонь, и огонь не обжёг его, а расступился, и он почти увидел её лицо, почти, ещё мгновение...

И тогда кто-то заговорил.

Голос шёл не из сна. Он шёл изнутри, из-под рёбер, оттуда, где было клеймо. Он был тихим, не громче дыхания, и в нём не было ни мужского, ни женского, ни молодого, ни старого. Он был похож на шорох пепла, когда его ворошат кочергой, и на треск полена, которое вот-вот развалится в огне, и на что-то ещё, чему не было названия ни в одном языке, который знал Эйрик.

Голос сказал одно имя.

— Марта Келлер.

Эйрик открыл глаза.

В доме было темно и тихо. Огонь в очаге догорел до углей. Братья храпели на соломе. Кассиан спал за столом, и его рыжеватый затылок слабо поблёскивал в красном свете углей. За ставнями было черно, до рассвета оставалось ещё не меньше часа.

Клеймо на груди горело.

Не ныло, не теплело, а горело, как днём на площади, ровным и сильным жаром, будто под кожей у него лежал раскалённый докрасна уголь. Эйрик прижал ладонь к груди, и ладонь стала мокрой от пота. Он сидел неподвижно, не дыша, и слушал.

Тишина. Храп. Треск остывающих углей. Далеко, за ручьём, завыла собака и замолчала.

Голос больше не говорил.

Эйрик медленно убрал руку. Жар уходил, неохотно, толчками, как уходит вода из песка. Он сидел у стены, большой, тяжёлый, неподвижный, и смотрел на угли.

Он не знал никакой Марты Келлер. Он никогда не слышал этого имени.

Он повторил его про себя, беззвучно, одними губами, чтобы не забыть. Он сам не знал, зачем ему его помнить. Он знал только, что впервые за пятнадцать лет клеймо сказало ему что-то, кроме боли, и что теперь в пустом погребе у него внутри кто-то был.

За ставнями медленно серело. Где-то над площадью, над обугленным столбом и остывающими углями, вставал над Гримом новый день, такой же серый, как вчерашний. Пепел, который ночью поднял ветер, оседал на крыши, на плетни, на колодец посреди улицы, на истоптанный снег, и снег от него становился ещё серее.

Эйрик сидел и ждал рассвета, повторяя чужое имя.

Глава 2. Имя

Кто решает, кому гореть? Бог, который смотрит сверху и взвешивает души? Закон, записанный в старых книгах? Или сосед, которому приглянулся чужой дом? Люди любят думать, что судьбу вершит нечто большое и незримое, что над миром висит рука, и всё, что случается, случается по её воле. Так легче. Тогда никто не виноват. Но иногда эта рука оказывается обыкновенной, мозолистой, пахнущей смолой. И тот, кто однажды разглядел её, уже не может развидеть.

Утром Грим проводил их так же, как встретил: молча.

Колонна выстроилась на площади, у засыпанного солью кострища, в сизых предрассветных сумерках. Соль за ночь смёрзлась в корку, серую от осевшего пепла, и из неё торчал обугленный столб с пустыми цепями. Никто из деревенских не вышел посмотреть, как уезжают братья. Только в окнах шевелились занавески, и из-за угла часовни выглядывала тощая собака, та самая, которую вчера били палкой. Она смотрела на кострище и тихо скулила.

Эйрик затягивал подпругу на Угле, когда к нему подошёл староста Йорген. Он подошёл боком, неуверенно, как подходят к чужой злой собаке, и остановился в трёх шагах.

— Счастливой дороги, господин, — сказал он и поклонился. — Да хранит вас Пламя.

— И тебя, — ответил Эйрик, не поднимая головы от подпруги.

Староста не уходил. Он переминался с ноги на ногу, мял в руках шапку, и Эйрик понял, что тот ждёт, не будет ли ещё каких приказаний, и боится уйти без разрешения. Эйрик выпрямился.

— Скажи, — сказал он, и сам удивился, что говорит. — Ты знаешь Марту Келлер?

Йорген моргнул.

— Марту... Келлер? — Он наморщил лоб, старательно, как школяр, которого вызвали к доске. — Нет, господин. В Гриме таких нет. Келлеров у нас отродясь не было. Может, в Хольце? Или в Ольме? Там народу больше. А она... она одержимая?

Последнее слово он произнёс шёпотом, и лицо его снова пошло пятнами.

— Не знаю, — сказал Эйрик. — Иди.

Староста поклонился ещё раз и ушёл почти бегом.

Эйрик сел в седло. Имя всё ещё было с ним. Он проснулся с ним и умывался с ним ледяной водой из колодца, и ел с ним чёрствый хлеб, который сунула ему в руки жена старосты, и оно никуда не делось. Оно сидело у него в голове, как заноза под ногтем: маленькое, почти незаметное, но стоит тронуть, и больно. Марта Келлер. Он не знал её. Он никогда не слышал этого имени. И всё-таки он помнил, как голос произнёс его: шорох пепла, треск полена, что-то ещё, без названия.

Ночью, при свете углей, он почти уверил себя, что это был сон. Просто сон, ещё один, после тяжёлого дня. Ему снилась женщина в огне, а потом ему приснилось имя. Сны лишние. Сны не держат в голове.

Но клеймо горело. Он помнил жар под ладонью, мокрой от пота. Сны не оставляют пота на ладони.

— Ты сегодня тихий даже для себя, — сказал Кассиан, поравнявшись с ним, когда колонна тронулась. — Не выспался?

— Выспался.

— Врёшь. Я слышал, как ты сидел у очага до утра. Ты скрипишь, когда сидишь, ты знаешь? Как старая телега.

Эйрик не ответил. Кассиан покосился на него, хмыкнул и отстал, перекинувшись парой слов с Тилем.

Дорога из Грима шла вверх по склону, мимо старого пепелища. Эйрик смотрел туда, на обугленные столбы, торчащие из снега, и на провалившийся фундамент, и вдруг понял, что видит то, чего вчера не заметил.

Снега на пепелище не было.

Вокруг, на склоне, на полях, на крышах деревни, снег лежал ровной серой коркой. А на пепелище, в кругу шагов тридцать в поперечнике, земля была голая, чёрная, влажная, как весной после оттепели. И над ней едва заметно дрожал воздух, как дрожит над горячей печью. Иней на обугленных столбах был странный. Эйрик прищурился. Иней растёт вниз: сосульки свисают, бахрома висит под ветками. А здесь иней рос вверх. Тонкие белые иголки торчали из столбов вертикально, как шерсть на загривке у испуганной кошки, и на концах иголок что-то поблёскивало.

И клеймо замёрзло.

Не заныло от холода, как ныло всегда, а именно замёрзло, сразу и целиком, как будто под кожу ему засунули кусок льда. Эйрик вздрогнул так, что Уголь всхрапнул и сбился с шага. Холод был острым, колючим, и от него заломило рёбра.

— Не смотри туда.

Эйрик обернулся. Брат Ансельм ехал рядом, и лицо у него было непроницаемое, как всегда, только губы сжаты чуть плотнее.

— Не смотри туда, — повторил монах. — Это старое место. Здесь горело много. В таких местах земля долго не остывает. Объезжай.

— Иней растёт вверх, — сказал Эйрик.

— Объезжай, — сказал Ансельм и тронул коня, отъезжая вперёд. Через плечо он добавил, не оборачиваясь: — Пятнадцать лет ты не задавал вопросов, Эйрик. Это было твоё лучшее качество.

Эйрик объехал. Холод в клейме отпустил, когда пепелище осталось за спиной, медленно, словно лёд таял под кожей. Он оглянулся один раз. На голой чёрной земле посреди пепелища что-то шевельнулось. Ему показалось. Наверное, ворона.

Ворон в Вальдмарке почти не осталось. Он знал это. Но решил, что ворона.

* * *

Они ехали до полудня по старой королевской дороге, мимо пустых полей и брошенных хуторов. Вальдмарк был страной брошенных хуторов. Пепельная чума прошла по нему сто лет назад, Тлен ходил волнами всё это время, и люди уходили из маленьких деревень в большие, из больших в города, за стены, поближе к обителям Ордена. Там было страшнее, но надёжнее. Хутора оставались стоять, как пустые раковины, с провалившимися крышами и выбитыми ставнями, и в некоторых из них ещё висела на гвоздях утварь, а у порога стояли детские башмаки, присыпанные пеплом.

Эйрик ехал и думал о том, о чём никогда не думал. Мысли приходили сами, лишние, непрошеные, одна за другой, и он не мог их прогнать, как не мог прогнать холод.

Иней, растущий вверх. Голая земля. Соль на кострище, которую он засыпал вчера, не спрашивая зачем. Старуха Гертруда: «Тлена в старом Гриме не было». Ансельм: «Пятнадцать лет ты не задавал вопросов». Бондарёв сын с голубыми глазами. Имя.

Он перебирал всё это, как перебирают чётки, и ни одна бусина не подходила к другой. Это была не цепочка, а горсть рассыпанного гороха. Он не умел складывать такое. Его учили складывать дрова в поленницу и цепи на столбе, а мысли его никто складывать не учил.

На коротком привале у брошенного хутора, пока послушники поили мулов из колодца с треснувшим срубом, Кассиан сел рядом с ним на поваленную изгородь и протянул флягу.

— Пей. Это сидр. Жена старосты сунула. Сказала, для того, большого, который не ест.

Эйрик отпил. Сидр был кислым и холодным, и от него свело скулы.

— Помнишь, как мы в первый раз пили сидр? — спросил Кассиан, забирая флягу. — В обители. Нам было по сколько, по десять? Мне восемь. Ты стащил кувшин из погреба брата Эберхарда, и мы выпили его на колокольне, весь, и меня тошнило с колокольни прямо на клумбу магистра.

— Тебя тошнило, — сказал Эйрик. — Меня нет.

— Тебя никогда не тошнит. Ты как камень. — Кассиан засмеялся и отпил сам. — А потом пришёл отец Морвен. Помнишь? Я думал, он нас высечет. Брат Эберхард хотел, чтобы высек. А он сел с нами на ступеньку колокольни, вот так, как мы сейчас сидим, и спросил, вкусный ли был сидр.

Эйрик помнил. Он помнил это лучше, чем многое другое. Магистр, тогда ещё не магистр, сидел между ними на холодной каменной ступени, в простой серой рясе, и от него пахло воском и сушёной мятой. Он положил тяжёлую тёплую руку Эйрику на затылок и спросил: «Ты взял кувшин, Эйрик?» И Эйрик сказал: «Я». Он мог сказать, что Кассиан. Кассиан был младше, его наказали бы мягче. Но он сказал «я». И Морвен кивнул и сказал: «Хорошо. Тот, кто берёт на себя, однажды сможет взять и больше. Запомни это». А потом сказал брату Эберхарду, чтобы мальчиков не секли, а отправили на неделю чистить конюшни. И это было хуже, чем порка, и они оба были счастливы.

— Он всегда тебя выделял, — сказал Кассиан без зависти, просто как факт. — Тебя и меня, но тебя больше. Я ему как сын. А ты для него как... — Он задумался, подбирая слово. — Как обет. Как будто он что-то пообещал, когда вынес тебя из Грима, и до сих пор держит слово.

Эйрик посмотрел на свои руки. На ожоги, стянувшие кожу от запястий до костяшек.

Ожоги он получил в пятнадцать, на испытании. В обители было принято: перед тем как выжечь знак Обета, послушник должен показать, что не боится огня. Ему дают раскалённый в горне железный прут и велят держать, пока магистр не прочтёт молитву. Молитва короткая, двенадцать строк. Большинство роняли прут на третьей или четвёртой. Те, кто держал до восьмой, становились клеймёными. Эйрик держал до конца, до последнего слова, и ещё немного после, потому что не услышал, что молитва кончилась. Он помнил не боль, а запах. И лицо Морвена над собой, когда тот разжимал ему пальцы, по одному, бережно, как раскрывают ладонь спящему ребёнку. В глазах у Морвена тогда стояли слёзы. Это Эйрик тоже помнил. Он видел, как плачет магистр, один раз в жизни.

— Ты думаешь о нём, — сказал Кассиан.

— Нет.

— Думаешь. У тебя лицо делается другое. Мягкое, как тесто. — Кассиан хлопнул его по колену и встал. — Через три дня будем дома. Скажешь ему, что тебя мучает. Он поймёт. Он всегда понимает.

Эйрик кивнул. Он подумал, что, может быть, так и сделает. Расскажет Морвену про бондарёва сына, про иней, про голос. Морвен послушает, положит ему на затылок тяжёлую тёплую руку, и всё станет простым и гладким, как было раньше. Морвен всегда знал ответ.

Мысль эта была тёплой, и Эйрик держал над ней руки до самого конца привала.

Около полудня, на развилке у каменного креста, их ждал всадник.

Это был послушник Ордена, мальчишка лет шестнадцати, в серой рясе, подоткнутой за пояс, на заморённой рыжей кобыле, бока которой были в мыле. Увидев колонну, он соскочил с седла и побежал навстречу, оскальзываясь на мёрзлой колее.

— Брат Ансельм! — крикнул он ещё издали. — Брат Ансельм, слава Пламени, я вас нашёл!

Ансельм поднял руку, и колонна остановилась.

— Говори, — сказал он.

Послушник подбежал, задыхаясь, и схватился за стремя Ансельмова коня, как утопающий за ветку.

— Из Хольца, брат. Староста прислал. Вчера к ночи. Одержимая. Соседи донесли. Брат Вигберт, который в Хольце, он один, а там... там люди собрались, хотят сами, без Ордена. Брат Вигберт велел скакать навстречу вам, он знал, что вы будете возвращаться через развилку...

— Сами? — переспросил Ансельм, и в голосе его впервые прозвучало что-то, кроме сухости.

— Хотят сами сжечь, брат. Говорят, Орден долго едет, а Тлен не ждёт. Брат Вигберт запер её в часовне и стоит у двери, но их там человек сорок, и у них вилы...

Ансельм помолчал. Потом кивнул.

— Хольц в двух часах. По дороге. Едем. — Он посмотрел на послушника. — Как её имя?

Послушник облизнул пересохшие губы.

— Келлер, брат. Марта Келлер. Ткачиха. Вдова.

Эйрик не пошевелился. Он сидел в седле, большой и неподвижный, и смотрел на послушника, и чувствовал, как клеймо на груди медленно, толчками, наливается жаром, словно в нём раздували угли.

— Эйрик, — сказал Кассиан тихо, совсем рядом. — Ты побелел.

— Холодно, — сказал Эйрик.

Колонна свернула к Хольцу.

Хольц был больше Грима и злее.

Это Эйрик понял сразу, ещё на подъезде, по тому, как стояли люди. В Гриме они прятались за плетнями. В Хольце они вышли на улицу и стояли толпой у часовни, и толпа не молчала, а гудела, глухо и низко, как улей, в который сунули палку. Над головами торчали вилы, цепы, косы, насаженные на древко торчком. Кто-то держал факел, хотя был день. Кто-то раскачивал на верёвке ведро со смолой.

Часовня в Хольце была деревянная, приземистая, с высоким крыльцом в пять ступеней. На верхней ступени, спиной к двери, стоял монах. Брат Вигберт был немолод, сед, с круглым мягким лицом и испуганными глазами, и он стоял, раскинув руки, словно хотел обнять дверь, и что-то кричал толпе тонким, срывающимся голосом. Его не слушали.

Когда колонна въехала на площадь, гул оборвался.

Толпа обернулась. Сорок лиц, может, больше, красных, злых, испуганных, небритых. Эйрик ехал первым, и лица поворачивались к нему, и он видел, как злость в них сменяется чем-то другим: облегчением, страхом, почтением. Люди расступались перед Углём, отходили к стенам, опускали вилы. Кто-то стянул шапку. Кто-то пробормотал: «Пламя пришло».

Эйрик знал это чувство. Он видел его в сотне деревень. Люди боялись Тлена больше, чем Ордена, и Орден для них был не палачом, а лекарем, который пришёл резать гнилую ногу. Его ненавидели, пока он был далеко, и благословляли, когда он приезжал. Так было всегда.

— Кто здесь старший? — спросил Ансельм, не спешиваясь.

Из толпы вышел мужчина, рослый, плечистый, с тяжёлой квадратной челюстью и светлыми, коротко стриженными волосами. На нём был хороший овчинный тулуп и сапоги с подковками, каких в деревне не носят.

— Я, брат, — сказал он и поклонился, но не низко. — Конрад Келлер. Брат её покойного мужа. Это я донёс.

— Ты донёс на жену брата, — сказал Ансельм. Это был не вопрос.

— На одержимую, — поправил Конрад. — Пламя выше родства. Так ведь учит Орден?

Ансельм посмотрел на него долго, своими бесцветными глазами, и ничего не ответил. Потом спешился.

— Откройте, — сказал он брату Вигберту.

* * *

Марта Келлер сидела на полу часовни, у алтаря, под чёрным от копоти изображением Единого Пламени, и обнимала сына.

Мальчику было лет двенадцать, он был худ и белобрыс и прятал лицо у неё на груди. Сама Марта была немолода, лет сорока, с сильными плечами женщины, которая всю жизнь стоит у станка, и с руками, которые Эйрик заметил первыми: они были синие. Не от холода, а от краски, въевшейся в кожу так глубоко, что уже не отмывалась. Синие ладони, синие пальцы, синие ногти. Ткачиха. Красильщица. Она гладила сына по голове этими синими пальцами, медленно, ровно, как гладят, когда хотят успокоить не ребёнка, а себя.

Когда дверь открылась и в часовню вошли люди в серых плащах, она подняла голову.

Глаза у неё были карие. Тёплые, тёмные, как кора старой липы, с золотистыми искрами у зрачка. Усталые, покрасневшие от слёз и бессонной ночи. Ни одной серой нити. Ни одного пятнышка.

Эйрик смотрел на них и чувствовал, как клеймо под курткой горит ровным, сильным огнём.

— Встань, дочь моя, — сказал Ансельм.

Марта не встала. Она прижала сына крепче.

— Я не одержимая, — сказала она. Голос у неё был низкий, хрипловатый, и спокойный, страшно спокойный, как у человека, который всю ночь кричал и больше не может. — Вы же видите. Посмотрите мне в глаза. Посмотрите. Это Конрад. Ему нужен дом. Ему нужен станок. Когда Пауль умер, дом остался мне и Йонасу, а Конрад хотел, чтобы я ушла к нему, а я не пошла, и тогда он сказал, что пожалею. Он сказал, что пожалею. Вы слышите?

— Слышу, — сказал Ансельм. — Встань. Я должен осмотреть тебя.

— Мама, — сказал мальчик в её грудь, глухо, не поднимая лица.

— Тихо, Йонас. Тихо. Всё будет хорошо. Брат посмотрит и увидит.

Она мягко отстранила сына, поцеловала его в макушку и встала. Эйрик заметил, что колени у неё подогнулись и она удержалась, схватившись за край алтаря синей рукой. Потом выпрямилась. Мальчик сидел на полу и смотрел на мать снизу вверх, и в его глазах был тот же вопрос, что Эйрик видел вчера у мальчика в Гриме. Тот же камень в ладони.

Ансельм подошёл к ней вплотную. Он достал из-за пазухи маленькое круглое зеркальце в медной оправе, отполированное до блеска, и поднёс его к её лицу, поймав в него свет из узкого окна. Солнечный зайчик, мутный, серый от облаков, упал ей на глаза. Марта зажмурилась.

— Открой, — сказал Ансельм.

Она открыла.

Ансельм смотрел долго. Он наклонялся то к одному глазу, то к другому, поворачивал зеркальце, ловил свет. Его лицо было неподвижным и сосредоточенным, как у ювелира, который проверяет камень. В часовне было так тихо, что Эйрик слышал, как за стеной гудит толпа и как потрескивает лампадка у алтаря.

Наконец Ансельм опустил зеркальце.

— Серость в глубине, — сказал он.

Марта не поняла. Она стояла и смотрела на него, и Эйрик видел, как слова доходят до неё медленно, по одному, как камни, падающие в глубокий колодец.

— Что? — сказала она.

— Тлен в тебе, дочь моя, — сказал Ансельм ровно, почти мягко. — Он ещё не вышел наружу. Он в глубине, за зрачком, где его не видят простые глаза. Но он там. Мне жаль.

— Нет, — сказала Марта.

— Мне жаль, — повторил Ансельм и убрал зеркальце за пазуху.

— Нет, — сказала Марта громче. — Нет. Нет! Вы не смотрели! Вы ничего не видели! Посмотрите ещё! Посмотрите ещё раз, брат, умоляю вас, Пламенем умоляю, посмотрите ещё!

Она схватила его за рукав синей рукой. Ансельм не отдёрнул руки. Он стоял и смотрел на неё с той же усталой мягкостью, с какой лекарь смотрит на больного, которому только что сказал, что лечить нечего.

— Эйрик, — сказал он, не оборачиваясь.

Эйрик не двинулся с места.

Он смотрел на её глаза. Карие, тёплые, с золотыми искрами. Он стоял в трёх шагах и видел их ясно, при свете из окна, и в них не было ничего. Ни в глубине, ни на поверхности. Он видел Тлен тысячу раз. Он знал, как он начинается: с тонкой серой каймы по краю радужки, похожей на иней на стекле. Даже в самом начале, даже когда он прячется, кайма есть. Её видно, если знать, куда смотреть. Эйрик знал. Он смотрел туда, куда нужно.

Каймы не было.

— Брат Ансельм, — сказал Эйрик. Голос его прозвучал в тишине часовни громче, чем он хотел. — Позволь мне посмотреть.

Ансельм медленно обернулся.

Кассиан, стоявший у двери, замер. Брат Вигберт, стоявший рядом с ним, открыл рот. Даже Марта перестала кричать и уставилась на Эйрика.

— Тебе? — переспросил Ансельм.

— Я видел Тлен сотни раз. Я хочу посмотреть.

— Ты клеймёный, Эйрик, — сказал Ансельм тихо. — Не дознаватель. Твои глаза видят то, что снаружи. Мои видят то, что внутри. Этому учатся двадцать лет. Ты держишь факел. Я смотрю. Каждый делает своё. Ты это знаешь. Ты это сам говорил вчера.

— Я хочу посмотреть.

В часовне стало очень тихо. Ансельм смотрел на него, и в его бесцветных глазах Эйрик впервые увидел что-то новое. Не злость. Не удивление. Что-то вроде холодного, внимательного интереса, с каким смотрят на трещину в стене, прикидывая, насколько она глубока.

— Хорошо, — сказал Ансельм наконец и отступил в сторону. — Посмотри.

Эйрик подошёл к Марте. Она смотрела на него снизу вверх, и в её глазах вспыхнула надежда, такая яркая, что ему стало больно на неё смотреть. Он наклонился. Он смотрел в её левый глаз, потом в правый, близко, так близко, что видел своё отражение в её зрачках: огромную тёмную фигуру с ожогами на руках. Он смотрел туда, где начинается Тлен. Туда, где кайма.

Ничего.

Он выпрямился.

— Ну? — спросил Ансельм за его спиной.

Эйрик молчал.

Он стоял между ними и молчал, и ему казалось, что молчание это длится очень долго, хотя прошло, наверное, не больше трёх вдохов. За эти три вдоха он успел понять очень многое и очень простое. Что если он скажет «ничего нет», Ансельм спросит, кому он верит: двадцати годам дознавателя или пятнадцати годам факела. Что толпа за дверью с вилами и смолой не уйдёт, если Марту не сожгут: они сожгут её сами, и дом её, и, может быть, мальчика тоже, потому что Тлен переходит через руки. Что Орден не ошибается, потому что если Орден ошибается, то ошибался и вчера, и позавчера, и все пятнадцать лет, и тогда Эйрик не держал факел, а...

Он не додумал это слово. Он не позволил себе его додумать.

— Я не дознаватель, — сказал он. — Я ничего не вижу.

Он сказал правду. Он ничего не видел. И то, как он сказал эту правду, было самой большой ложью в его жизни.

Марта смотрела на него. Надежда в её глазах погасла не сразу, а медленно, как гаснет лучина, когда в ней кончается смола. Потом там стало темно и тихо.

— Да, — сказал Ансельм. — Ты не дознаватель. Выводи.

Ансельм нашёл его у коновязи, куда Эйрик вышел из часовни, чтобы ни на кого не смотреть.

Монах подошёл неслышно, как подходил всегда, и встал рядом, глядя не на Эйрика, а на лошадей. Уголь косился на него лиловым глазом и прядал ушами.

— Ты хотел сказать «нет», — сказал Ансельм. — Там, в часовне.

Эйрик молчал.

— Я видел. Ты стоял и решал. Это было видно по твоей спине. — Ансельм помолчал. — Скажи мне, что бы случилось, если бы ты сказал «нет»?

— Её бы не сожгли.

— Её бы сожгли, — спокойно возразил Ансельм. — Не мы, так они. — Он кивнул в сторону площади, откуда доносился гул толпы. — Сорок человек с вилами и смолой. Брат Вигберт стоял бы у двери, пока его не отодвинули бы. Потом они сожгли бы её. Без молитвы, без смолы, на сырых дровах, долго. И мальчика. Мальчика бы сожгли тоже, потому что все знают, что Тлен переходит через руки, а она гладила его по голове. И дом. И, может быть, соседей, которые за неё заступились бы. А потом они перестали бы ждать Орден. Ни в Хольце, ни в Ольме, ни в Гриме. Они научились бы жечь сами. Знаешь, что бывает в деревне, которая научилась жечь сама?

Эйрик не ответил.

— Я видел, — сказал Ансельм. — Двадцать лет назад, под Ротбахом. Они сожгли половину деревни за одну ночь. По подозрению. Соседи жгли соседей за межу, за корову, за косой взгляд. Тлена там не было вовсе. Просто люди однажды поняли, что могут. — Он помолчал. — Орден не даёт им понять, что они могут. Мы забираем у них факел, Эйрик. Мы берём его в свои руки, чтобы он не оказался в их. Это и есть наше служение. Не очищение. Не молитвы. Вот это.

— А правда?

— Правда, — повторил Ансельм, словно пробуя слово на вкус. — Правда в том, что Конрад Келлер хотел её дом. И что глаза у неё, может быть, и чистые. И что если я скажу это толпе, толпа не поверит мне, а поверит Конраду, потому что Конрад свой, а я чужой. И тогда случится всё то, что я тебе рассказал. Правда, Эйрик, это роскошь. Я не могу её себе позволить. Ты тоже.

Он повернулся и посмотрел Эйрику в лицо. Снизу вверх, потому что был на голову ниже, но так, что Эйрику казалось, будто монах смотрит на него сверху.

— Я сказал, что вижу серость, — тихо сказал Ансельм. — Я взял это на себя. Не ты. Это моя вина, если это вина. Ты держишь факел. Ты чист. Помнишь, что говорит магистр? Тот, кто берёт на себя... — Он не договорил, ожидая.

— ...однажды сможет взять и больше, — сказал Эйрик глухо.

— Вот. Я беру. А ты держи. — Ансельм похлопал его по руке, по старым ожогам, сухими холодными пальцами. — И не смотри больше в глаза тем, кого жжёшь. Это лишнее. Ты знаешь.

Он ушёл к часовне, и полы его рясы мели снег.

Эйрик стоял у коновязи и смотрел ему вслед. Слова Ансельма снова были гладкими и тяжёлыми, без единой трещины. Он мог опереться на них. Он мог взять их, как берут щит, и встать за ними, и ему больше не пришлось бы ни о чём думать. Это было так просто. Надо было только поверить, что выбор был между одним костром и сорока.

Он почти поверил. Он поверил бы, если бы не помнил, как Ансельм держал медное зеркальце и смотрел в карие глаза, долго, внимательно, как ювелир на камень. Человек, который заранее знает, что скажет, не смотрит так долго. Так смотрит человек, который хочет, чтобы все видели, как долго он смотрит.

Костёр в Хольце сложили быстро, слишком быстро. Дрова у людей были припасены заранее, и смола тоже. Конрад Келлер сам принёс охапку берёзовых поленьев и бросил её в общую кучу, и Эйрик видел, как он отряхнул руки и посмотрел на часовню, а потом на дом за часовней,

большой, крепкий, с резными наличниками и пристроенной сбоку мастерской, откуда торчал край ткацкого станка.

Столба в Хольце не было. Его вкопали тут же, наспех, кривой и сырой, и Эйрику пришлось самому вбивать его глубже обухом топора, потому что деревенские вкопали мелко и столб качался. Он бил размеренно, сильно, и с каждым ударом клеймо отзывалось толчком жара, словно сердце билось не в груди, а под знаком.

Марта стояла у часовни, между Удо и Хальмом, со связанными руками. Она не кричала больше. Она смотрела на сына.

Йонаса держал за плечи брат Вигберт. Мальчик не вырывался, не плакал. Он просто стоял и смотрел на мать, и лицо у него было белым, как у мертвеца, и совершенно пустым.

Эйрик вбил столб и бросил топор. Подошёл к Марте.

— Пора, — сказал он.

Она перевела взгляд на него. Глаза у неё были сухие.

— Он будет смотреть, — сказала она тихо. Не умоляла, не просила. Просто сказала, как говорят о погоде. — Йонас. Он будет смотреть, как я горю. Он запомнит это на всю жизнь. Ему двенадцать.

Эйрик молчал.

— Ты ведь мог сказать, — сказала Марта. — Там, в часовне. Ты видел. Я знаю, что ты видел. Ты мог сказать.

— Я не дознаватель.

— Ты трус, — сказала Марта, всё так же тихо и ровно. — Большой трус. Самый большой из всех, кого я видела.

Он взял её за плечо и повёл к столбу.

Она шла сама, прямо, не спотыкаясь. Толпа расступилась перед ними. Кто-то плюнул ей под ноги. Кто-то отвернулся. Конрад Келлер стоял в первом ряду, скрестив руки на груди, и смотрел на неё с выражением, которое Эйрик знал. Так смотрят на долг, который наконец вернули.

У столба Эйрик остановился. Он надел ей ошейник, щёлкнул замком. Цепи были те же, что вчера в Гриме, ещё чёрные от копоти. Он замкнул кольца у неё на запястьях, над синими ладонями. Пальцы у него не дрогнули. Они никогда не дрожали.

Потом он обернулся и нашёл глазами Кассиана.

— Уведи мальчика, — сказал он.

Кассиан посмотрел на него с удивлением.

— Устав, брат. Родные должны видеть. Чтобы помнили и смотрели в оба.

— Уведи мальчика, — повторил Эйрик, и в его голосе было что-то такое, отчего Кассиан, помедлив, кивнул.

Он подошёл к брату Вигберту, что-то сказал ему, и вдвоём они повели Йонаса прочь, за часовню, к реке. Мальчик шёл, не сопротивляясь, и всё время оборачивался, и Кассиан мягко поворачивал его голову ладонью вперёд, как поворачивают голову жеребёнку, которого ведут мимо волчьей шкуры.

Ансельм видел это. Эйрик знал, что он видел. Монах стоял у крыльца со свитком в руках и смотрел на Эйрика, и ничего не сказал.

Марта смотрела, как уводят сына, пока он не скрылся за углом. Потом закрыла глаза.

— Спасибо, — сказала она, не открывая глаз.

Эйрик отступил к западной стороне, где Хальм уже разлил смолу. Хальм разлил много, Эйрик видел, гораздо больше, чем в Гриме, и Хальм поймал его взгляд и пожал плечами: ты же сам вчера велел.

Ансельм читал приговор. Коротко на этот раз, без молитв за каждого, без долгих слов. Одно имя, одно свидетельство, один признак: серость в глубине. Толпа молчала. Кто-то в задних рядах всхлипывал.

Тиль подал Эйрику факел. Кассиана не было, и лучину поднёс брат Удо. Он не сказал «Пламя с тобой». Он ничего не сказал.

Эйрик поджёг факел. Огонь вспыхнул, и жар ударил ему в лицо, и клеймо под курткой полыхнуло так, что он едва не выронил древко. Он стиснул зубы.

Он посмотрел на Марту. Она стояла у столба с закрытыми глазами. Губы её шевелились. Она молилась, или говорила что-то сыну, или просто считала. Синие руки висели в кольцах.

Он бросил факел.

Дым поднялся сразу, густой, чёрный, и закрыл её. Эйрик стоял и смотрел в дым, и считал вдохи, как считал всегда. Один. Два. Три. На седьмом вдохе за стеной дыма раздался кашель, долгий, надрывный. На двенадцатом он оборвался. Она не закричала. Ни разу.

Огонь гудел.

Эйрик стоял. Клеймо жгло так, что ему казалось, будто кольчуга на груди раскалилась. Он чувствовал, как огонь тянется к нему, как в Гриме, только сильнее, и ему показалось, что из гудения пламени, из треска поленьев, из шороха пепла складывается звук, похожий на вздох. На довольный, сытый, глубокий вздох, как вздыхает человек, который долго был голоден и наконец поел.

Он отступил на шаг. Потом ещё на один.

— Эйрик? — сказал Тиль. — Брат Эйрик, ты чего?

— Ничего, — сказал Эйрик. — Дым.

* * *

Они остались в Хольце на ночь. Ансельм решил, что лошадям нужен отдых, а людям нужно видеть, что Орден не уехал сразу. «Пусть знают, что мы рядом», — сказал он. Братьев разместили по домам, а Эйрику выпала стража у кострища до полуночи.

Перед стражей, когда начало смеркаться, он спустился к реке.

Он не собирался туда идти. Ноги понесли сами, мимо часовни, мимо дома с резными наличниками, где в окне мастерской уже горела лучина Конрада, по тропинке вниз, к чёрной воде, не замёрзшей у берега из-за быстрого течения. Там, на сухом пятачке под старой ивой, горел костерок. Брат Вигберт дремал, сидя, привалившись к стволу. Кассиан подбрасывал в огонь ветки. Мальчик сидел напротив него, обхватив колени, и смотрел в пламя.

Кассиан поднял голову, увидел Эйрика и чуть заметно покачал головой: не надо. Эйрик всё равно подошёл.

Йонас не обернулся. Эйрик постоял над ним, потом опустился на корточки по другую сторону огня, так что пламя оказалось между ними.

Мальчик долго смотрел на огонь. Потом поднял глаза. Светлые, серые, как у отца, наверное, которого Эйрик никогда не видел. Обычные серые глаза, без всякого Тлена, просто серые, как вода в реке.

— Мама была одержимая? — спросил Йонас.

Голос у него был тонкий и совсем спокойный. Он спрашивал так, как спрашивают дорогу.

Кассиан замер с веткой в руке.

Эйрик смотрел на мальчика через огонь. Он знал, что нужно сказать. Нужно сказать «да». Мальчику так будет легче. Если мать была одержимой, то её сожгли правильно, и тогда мир на месте, и Орден на месте, и дядя Конрад, который сегодня перетащит свой сундук в их дом, тоже на месте. Тогда мальчик сможет жить. Он сможет ненавидеть Тлен, а не людей. Это тёплый ответ. Кассиан дал бы именно его.

— Не знаю, — сказал Эйрик.

Йонас смотрел на него.

— Брат Ансельм сказал, что была, — сказал мальчик. — В глубине.

— Брат Ансельм дознаватель. Он видит в глубине.

— А ты?

— Я держу факел.

— Ты смотрел ей в глаза, — сказал Йонас. — Я видел. Ты долго смотрел. Что ты там увидел?

Эйрик молчал. Огонь трещал между ними. Кассиан смотрел на него с ужасом.

— Её глаза, — сказал наконец Эйрик. — Карие. С золотом у зрачка. Как у тебя, только у тебя серые.

Мальчик долго смотрел на него. Потом опустил голову на колени и заплакал. Впервые за весь день. Тихо, без всхлипов, просто плечи затряслись.

Эйрик встал. Кассиан проводил его взглядом до самой тропинки, и в этом взгляде было что-то, чего Эйрик раньше никогда не видел у друга. Не осуждение. Страх. Как будто Кассиан смотрел на человека, который стоит на краю обрыва и не замечает, что под ногами осыпается земля.

Он засыпал угли солью сам. Медленно, ровно, лопату за лопатой, как вчера. Соль шипела и трескалась. Когда последнее багровое пятно скрылось под белым, он воткнул лопату в землю и сел рядом, на брошенную колоду, спиной к часовне, лицом к засыпанному кострищу.

Ночь была тёмной, безлунной. В Хольце не горело ни одного окна. Только у реки, далеко, мерцал костерок: это Кассиан и брат Вигберт сидели с мальчиком, который так и не вернулся в деревню. Конрад Келлер ещё вечером перетащил в дом Марты свой сундук. Эйрик видел это.

Он сидел и смотрел на соль. Он ждал.

Он не знал, чего ждёт, пока клеймо не заговорило.

Сначала был жар. Не такой, как у костра, а тихий, медленный, разливающийся под кожей, как тепло от выпитого вина. Потом жар собрался в одну точку, в самую середину знака, туда, где был выжжен язык пламени, и Эйрик почувствовал, как эта точка пульсирует, ровно, неторопливо, отдельно от его собственного сердца.

Потом пришёл голос.

— Ты смотрел ей в глаза.

Шорох пепла. Треск полена. И то третье, без названия. Голос был тихим, он шёл изнутри, из-под рёбер, и в то же время отовсюду, из темноты вокруг, из засыпанных солью углей.

Эйрик не пошевелился. Он сидел на колоде, положив руки на колени, и смотрел перед собой.

— Ты смотрел ей в глаза, — повторил голос. — И ничего там не увидел. Потому что там ничего не было.

— Кто ты? — спросил Эйрик. Он сказал это вслух, негромко, и собственный голос показался ему чужим.

Голос помолчал. Потом в нём появилось что-то похожее на улыбку. Если пепел может улыбаться.

— Тот, кто слушает.

— Слушает что?

— Всё. Как вы горите. Как вы молитесь перед этим. Как думаете друг о друге, когда никто не слышит. Как брат думает о жене брата и о её станке. Как монах думает о том, сколько смолы осталось до весны. Я слушаю. Это всё, что мне оставили.

— Ты назвал её. Вчера ночью. Марта Келлер.

— Назвал.

— Ты знал, что её сожгут.

— Я знал, что её выбрали, — сказал голос. — Человек выбрал её ещё осенью, когда она не пошла к нему в дом. Вчера вечером он пошёл к монаху. Я услышал, как он думал о ней, когда шёл. Его мысли пахли смолой. Я сказал тебе имя. Вот и всё.

— Зачем?

Пауза. Потом, мягко, почти ласково:

— Чтобы ты посмотрел.

Эйрик закрыл глаза.

— Ты не выбираешь, — сказал он медленно. — Ты только слышишь.

— Я не выбираю, — согласился голос. — Выбирают они. Я лишь называю тех, кого они выберут. Каждый день, Эйрик. Каждый день кто-то идёт к монаху, и его мысли пахнут смолой, и монах берёт своё медное зеркальце. Я слышал тысячи таких имён. Ты сжёг сотни из них. Ты никогда не спрашивал, кого жжёшь. Я никогда не говорил тебе. Ты был глух. А теперь слышишь.

— Почему теперь?

— Потому что ты вернулся туда, где тебя нашли, — сказал голос, и в нём вдруг появилось что-то новое: голод. — Туда, где я впервые попробовал тебя на вкус. Ты помнишь иней, который растёт вверх?

Эйрик открыл глаза.

— Что ты такое?

Голос засмеялся. Тихо, сухо, как шелестит пепел, когда на него дуют.

— Ты держишь факел пятнадцать лет и спрашиваешь, что такое огонь? Твои братья говорят, что огонь очищает. Ты сам говорил это мальчику вчера. Хорошая ложь. Тёплая. Огонь не очищает, Эйрик. Огонь кормит.

— Кого?

Голос не ответил сразу. Жар в клейме сжался в точку и замер, как зверь перед прыжком.

— Пока что я буду тихим, — сказал голос наконец, медленно, почти нежно. — Я буду слушаться твоего огня. Я лягу на дно, в самую глубину, и буду дышать там, под твоими рёбрами, где ты меня не видишь. Береги своих, Эйрик. Брата с рыжей щетиной. Старика, который плакал, когда разжимал тебе пальцы. Береги их хорошенько. Чем больше бережёшь, тем больнее будет терять. А когда станет больно по-настоящему, я приду. И тогда я съем тебя целиком.

Голос замолчал. Жар в клейме медленно спадал, отступал, как вода в отлив. Эйрик ждал. Он сидел неподвижно, и ночь вокруг была чёрной и тихой, и ему казалось, что он остался в мире совсем один, он и засыпанное солью кострище, на котором сегодня сгорела женщина с синими руками.

Потом, уже совсем издалека, на самом краю слышимости, голос сказал:

— Хочешь знать завтрашнее имя?

— Нет, — сказал Эйрик.

— Неправда. Хочешь. Ты всегда хотел знать. Ты просто боялся спросить.

— Нет.

— Тогда слушай, раз не хочешь, — сказал голос, и Эйрику показалось, что он улыбается. — Ильва. Из Мшаника. Травница. Её выберут завтра. Монахи уже пишут бумагу.

Жар погас. Клеймо остыло и снова тупо заныло от холода, как ныло всегда. Голоса больше не было.

Эйрик сидел на колоде до самой полуночи, пока Ренн не пришёл его сменить. Он сидел и смотрел на соль, и повторял про себя имя, которого не хотел знать.

Ильва. Мшаник.

За спиной у него, в темноте, у реки, догорал костерок, у которого не спал двенадцатилетний мальчик. Эйрик не обернулся ни разу. Он знал, что если обернётся, то увидит его глаза, и в них будет тот самый вопрос, на который у него больше не было тёплого ответа.

Трус, сказала Марта Келлер. Самый большой из всех.

Он не спорил с ней. Он просто сидел и слушал, как в темноте шуршит пепел под солью, и пытался понять, кормит его этот пепел или нет.

* * *

Утром его разбудил колокол.

Не часовенный, деревенский, а маленький медный колокольчик на сбруе гонца. Эйрик спал у очага в доме брата Вигберта, не раздеваясь, и открыл глаза, ещё не понимая, где он, а рука уже лежала на мече. Колокольчик звенел на улице, частый, тонкий, нетерпеливый, и за ним послышались голоса и топот копыт.

Он вышел на крыльцо. Было серо и сыро, с реки тянуло туманом. У часовни стоял взмыленный конь, гнедой, с белой проточиной, в сбруе с медными бляхами Ордена, а рядом с конём, разминая затёкшие ноги, стоял гонец. Не мальчишка-послушник, как вчера, а брат в полном облачении клеймёного: кольчуга, серый плащ с вышитым кругом и пламенем на плече. Эйрик узнал его. Брат Ортвин из главной обители, личный гонец магистра. Ортвин не возил писем в деревни. Ортвин возил только то, что магистр писал сам.

Ансельм уже стоял на крыльце часовни в одной рясе и читал свиток, держа его на вытянутых руках. Печать на шнурке была красная, магистерская: круг и пламя, оттиснутые в воске цвета крови.

Эйрик подошёл. Ортвин кивнул ему, как старому знакомому.

— Эйрик. Тебя-то мне и надо. Магистр велел отдать в руки брату Ансельму, а что внутри, касается тебя.

Ансельм дочитал. Свернул свиток. Посмотрел на Эйрика, и Эйрик в который раз не смог прочесть ничего в его бесцветных глазах.

— Магистр Морвен шлёт тебе благословение, — сказал Ансельм. — И поручение. Лично тебе. В болотах за Ольмом есть деревня, Мшаник. Там живёт травница. На неё пришёл донос: говорит с мёртвыми, ходит ночью на старые кострища, собирает там травы. Брат Сибальд осматривал её две недели назад и ничего не нашёл. Магистр не верит брату Сибальду. Он хочет видеть её сам.

Эйрик стоял неподвижно.

— Ты должен привести её в обитель, — продолжал Ансельм. — Живой. Не жечь. Не трогать. Привести. Магистр пишет, что поручает это тебе, потому что доверяет тебе больше, чем кому-либо. Возьмёшь с собой Тиля. Колонна вернётся в обитель без вас.

— Как её имя? — спросил Эйрик.

Он знал ответ. Он спросил, потому что должен был услышать его снаружи, а не изнутри.

Ансельм развернул свиток, нашёл строку.

— Ильва, — прочёл он. — Ильва из Мшаника.

Клеймо под курткой не шелохнулось. Оно было холодным и молчаливым, как камень. Шёпот не сказал ни слова. Ему не нужно было.

— Ты рад? — спросил Ортвин, улыбаясь. — Магистр выбрал тебя. Не Кассиана, не Ансельма, тебя. Это честь.

— Честь, — повторил Эйрик.

Он повернулся и пошёл седлать Угля. За спиной он слышал, как Ортвин что-то весело рассказывает Ансельму о новостях из обители, и как Ансельм отвечает односложно, сухо, а потом вдруг замолкает. Эйрик знал, не оборачиваясь, что монах смотрит ему в спину. Так, как смотрел вчера у коновязи. Как на трещину в стене.

Туман над рекой редел. Где-то там, внизу, у потухшего костерка под ивой, спал мальчик с серыми глазами. Эйрик подтянул подпругу, проверил стремена, похлопал Угля по шее. Руки не дрожали. Они никогда не дрожали.

Ильва из Мшаника. Он не хотел знать этого имени. Теперь он знал его дважды.

Глава 3. Болотная травница

Ради чего живёт человек, у которого нет ничего, кроме меча? Ради следующего утра? Ради приказа? Или ради того, чтобы не думать, ради чего? У каждого, кто идёт рядом с ним, есть своя маленькая мечта: лавка, дом, девушка, которая однажды отказала. Эти мечты горят, как огоньки в ночной степи, и их видно издалека. А у него огонька нет. Есть только факел, и он чужой. Можно прожить так долго. Можно даже не заметить. Пока однажды один из огоньков не погаснет у тебя на руках.

Мшаник лежал в трёх днях пути на запад, за Ольмом, там, где королевская дорога кончалась и начинались болота.

Эйрик и Тиль выехали из Хольца в то же утро, оставив колонну на развилке у каменного креста. Кассиан проводил их до поворота. Он ехал рядом с Эйриком молча, что было на него совсем не похоже, а у поворота придержал коня и протянул руку.

— Пламя с тобой, брат.

— И с тобой.

Кассиан не отпускал его руку чуть дольше, чем было нужно. Потом сказал, глядя не на Эйрика, а куда-то в сторону, на серые поля:

— Ты вчера говорил с мальчиком.

— Говорил.

— Ты мог сказать ему, что она была одержимой.

— Мог.

Кассиан помолчал. Потом отпустил руку и посмотрел наконец Эйрику в глаза.

— Привези травницу, — сказал он. — Привези её магистру, как он велел. Отдай. А потом поговори с ним. Обо всём. Обещаешь?

Эйрик кивнул. Кассиан улыбнулся, коротко и криво, хлопнул Угля по шее и повернул назад, к колонне. Эйрик смотрел ему вслед, пока серый плащ с вышитым кругом не скрылся за холмом.

Потом они с Тилем поехали на запад.

* * *

Первые два дня дорога была пустой и скучной. Брошенные хутора, серые поля, редкие деревни, в которых люди при виде серых плащей уходили в дома. Ночевали один раз на постоялом дворе в Ольме, второй раз в сарае на заброшенной мельнице, где пахло мышами и прелым зерном. Тиль всю дорогу говорил. Эйрик не останавливал его. Голос мальчишки был ему не нужен, но и не мешал, как не мешает шум воды у мельничного колеса.

Тиль рассказывал про Ольм. Он был родом оттуда. Его мать держала пекарню у рыночной площади, маленькую, на три печи, и до восьми лет Тиль каждое утро вставал до рассвета и таскал ей муку из амбара. Потом в Ольм пришёл Тлен, и отец Тиля, сапожник, однажды ночью сел на кровать и посмотрел на спящего сына серыми глазами. Мать успела вытолкать Тиля в окно. Отца сожгли через два дня. Мать осталась жива. Тиля забрали в обитель, потому что Орден забирал всех детей из домов, где был Тлен, на три года, для очищения. Через три года он попросился остаться.

— Почему? — спросил Эйрик. Он сам не знал, зачем спросил. Он никогда не спрашивал.

Тиль смутился и долго молчал. Они ехали по раскисшей колее вдоль канавы, и Уголь осторожно переступал через лужи, затянутые тонким льдом.

— Я хочу стать дознавателем, — сказал наконец Тиль. — Как брат Ансельм. Научиться видеть в глубине. — Он покраснел. — Чтобы... Понимаешь, брат Эйрик, никто тогда не видел, что у отца Тлен. Ни мать, ни соседи, ни я. Он был обычный. Шил сапоги, шутил, по воскресеньям водил меня на реку. А потом однажды ночью... Если бы кто-то увидел раньше. В глубине.

Может, мать не пришлось бы... — Он замолчал, сглотнул. — Я хочу видеть раньше. Чтобы никто больше не просыпался ночью от того, что на него смотрят серые глаза.

Эйрик ничего не сказал. Он смотрел на дорогу.

— А потом, когда стану дознавателем, — продолжал Тиль уже веселее, будто испугался собственной серьёзности, — попрошусь в Ольм. У нас там нет своего, приезжает брат из Хольца раз в месяц. А я буду свой. И буду каждое утро заходить к матери за хлебом. Она печёт такие булки с тмином, брат Эйрик. Ты бы ел. Даже ты бы ел. Я тебе привезу, когда-нибудь. Честное слово.

Он засмеялся. Эйрик посмотрел на него. Тиль сидел в седле, тощий, нескладный, с красными от ветра ушами, и улыбался, и в этой улыбке было что-то такое, отчего Эйрику на миг стало тепло, как бывает тепло, когда ночью в степи видишь далеко-далеко чей-то костёр. Маленький огонёк. Чужой. Ни согреться у него, ни подойти. Но он есть, и уже от этого не так темно.

«Видеть в глубине», — подумал Эйрик и вспомнил медное зеркальце в руке Ансельма.

— Привези, — сказал он. — Булки.

Тиль просиял.

* * *

На третий день королевская дорога кончилась.

Она не оборвалась, а просто растворилась, как растворяется в воде брошенная соль. Колея становилась всё мягче, канавы по бокам всё шире и полнее, а потом вода вышла из канав и легла по обе стороны дороги чёрными плоскими зеркалами, и из зеркал торчали кочки, поросшие бурой осокой, и голые чахлые берёзки, и пни, похожие на гнилые зубы. А потом вода легла и на дорогу, и дальше начиналась гать.

Гать была старая, сложенная из брёвен в два слоя, поперёк. Брёвна давно почернели и обросли зелёным мхом, местами провалились, местами разошлись, и между ними стояла чёрная вода, затянутая тонким, как бумага, ледком. Гать уходила вперёд, в серую мглу, прямая, как стрела, и по обесстороны от неё до самого горизонта лежало болото.

Проводник ждал их на последнем сухом пятачке, у покосившегося креста. Его прислал староста Ольма: старик лет шестидесяти, по имени Эмрих, сухой и сутулый, с длинной седой бородой, заткнутой за пояс, чтобы не мешала. На ногах у него были высокие кожаные сапоги, промазанные дёгтем, а в руках длинный шест с железным наконечником. Он посмотрел на коней, покачал головой и сплюнул.

— Коней оставьте, — сказал он. — Тут их съест.

— Кто? — спросил Тиль.

— Болото, — ответил Эмрих и посмотрел на Тиля, как на дурачка. — Кто ж ещё.

Коней оставили на хуторе у креста, у вдовы, которая взяла за постой серебряную монету и пообещала кормить их овсом, а не сеном. Эйрик долго гладил Угля по шее, прежде чем отдать повод. Уголь фыркал и косился на болото.

Дальше пошли пешком.

Болото было живым. Это Эйрик понял через час. Оно не лежало неподвижно, как лежит поле или лес. Оно дышало. Где-то в его глубине, под чёрной водой и бурой травой, что-то медленно ворочалось, и тогда на поверхность поднимались пузыри, большие, мутные, и лопались с тихим, влажным звуком, похожим на причмокивание. От пузырей пахло тухлыми яйцами и гнилой травой. Гать под ногами пружинила и проседала, и с каждым шагом из-под брёвен выдавливалась вода, холодная, ржавого цвета.

Тумана не было, но и видно далеко не было. Воздух над болотом был мутным, сизым, словно его разбавили молоком. Солнца не было видно с утра. Тишина стояла такая, что слышно было, как потрескивает ледок под ногами, как дышит Тиль, как постукивает шест Эмриха по брёвнам, проверяя, не сгнили ли.

Птиц не было. Ни одной.

— Тут раньше утки жили, — сказал Эмрих, словно услышав, о чём думает Эйрик. — Цапли. Журавли весной. Мой отец сюда на тетеревов ходил. А потом всё ушло. Лет двадцать как ушло.

— Куда?

— А пёс его знает. — Эмрих сплюнул в чёрную воду. — Ушло, и всё. Как старое Мшанское пепелище стало, так и ушло. Птица умнее человека. Человек остался, а птица ушла.

— Какое пепелище? — спросил Эйрик.

Эмрих не ответил. Он шёл впереди, ссутулившись, тыкая шестом в брёвна, и Эйрик видел, как напряглась его спина под старым тулупом.

Через час они его увидели.

Слева от гати, шагах в двухстах, на небольшом островке посреди болота, стояли остатки деревни. Шесть или семь домов, вернее, то, что от них осталось: чёрные остовы стен, провалившиеся крыши, торчащие к небу обугленные стропила. Вокруг островка вода была не чёрной, а серой, мутной, будто в неё насыпали золы. И над островком не было тумана. Над всем болотом висела сизая молочная муть, а над островком воздух был прозрачным, и в этом прозрачном воздухе что-то дрожало, как над горячей печью.

Клеймо под курткой у Эйрика замёрзло.

Он остановился. Тиль, шедший за ним, налетел ему на спину и тоже остановился, и Эйрик услышал, как мальчишка резко втянул воздух.

— Брат Эйрик, — прошептал Тиль. — У меня... холодно. Здесь. — Он прижал ладонь к груди.

— Знаю.

— Почему холодно? Оно же всегда горячее. У огня горячее.

— Здесь не огонь.

Эмрих, не оборачиваясь, ускорил шаг.

— Не стойте, — сказал он глухо. — Не стойте, господа хорошие. Не смотрите туда. Там старый Мшаник. Его Орден сжёг, лет двадцать назад. Всех. Сорок душ. А потом новый Мшаник отстроили дальше, на сухом месте. А на старый никто не ходит. Не надо туда смотреть. Идёмте.

Эйрик не двинулся. Он смотрел на островок. Между обугленными стенами, у самой воды, что-то шевелилось.

Сначала он подумал, что это вода. Что ветер, которого не было, гонит рябь. Потом присмотрелся. На берегу островка, у кромки серой воды, лежали комья. Розоватые, сизые, багровые, размером от кулака до бычьей головы. Они блестели, как облитые маслом, и над ними поднимался лёгкий пар, хотя был мороз. И они двигались. Медленно, неуклюже, они переползали по берегу, перетекали с места на место, как тесто, которое лезет из квашни. Один ком, большой, сизо-лиловый, весь в складках и буграх, сполз в воду, и вода вокруг него зашипела, и он погрузился и снова выплыл, и на его боку что-то блеснуло. Что-то белое и маленькое. Эйрик прищурился.

Зуб. Человеческий зуб, торчащий прямо из мяса.

— Требуха, — сказал Эйрик тихо.

Он знал это слово. Он знал его с первого года службы. Его произносили братья вполголоса, у костра, после третьей кружки: «гости», «требуха», «прорехи». Об этом не говорили с послушниками. Об этом не писали в уставе. Клеймёным показывали это раз, на втором году, в катакомбах под обителью, и потом велели забыть и никогда не рассказывать мирянам. Эйрик видел требуху трижды в жизни. Каждый раз Орден сжигал её сразу, вместе с местом, где она завелась, и засыпал солью.

— Что это? — прошептал Тиль. Голос у него дрожал. — Брат Эйрик, что это такое?

— Гости, — сказал Эйрик. — Не смотри.

— Это... это Тлен?

— Нет.

— А что? Что?!

Эйрик повернулся к нему. Тиль был белым, как полотно, и губы у него тряслись. Его ещё не водили в катакомбы. Он был клеймёным меньше года.

— Мясо, — сказал Эйрик. — Просто мясо. Оно ползает и ест то, что найдёт. Само по себе оно не опасно. Опасно, когда его много. Иди за Эмрихом и не оборачивайся.

Он сам повернулся и пошёл. Но за спиной он слышал, как ком требухи на берегу островка снова плюхнулся в воду, и ему показалось, что в этом звуке было что-то вроде вздоха. Довольного, сытого. Такого же, какой он слышал в Хольце из гудения костра.

Клеймо оттаяло только через полверсты.

Засада была на островке с тремя кривыми соснами, где гать делала поворот.

Эйрик понял это за мгновение до того, как всё началось. Он не увидел и не услышал ничего особенного. Просто что-то изменилось в тишине. Тишина над болотом всё время была пустой, мёртвой, как в погребе, а тут вдруг стала натянутой, как тетива. Он видел такую тишину десятки раз: в лесу перед стычкой, на улице перед тем, как толпа бросится. Тишина людей, которые затаили дыхание.

— Эмрих, стой, — сказал он.

Старик обернулся. И в этот миг стрела вошла ему в горло.

Она вошла сбоку, чуть ниже уха, с мягким, будто в мешок с мукой, звуком, и вышла с другой стороны, и Эмрих замер с открытым ртом, так и не успев понять. Потом изо рта у него пошла кровь, густая, тёмная, пузырящаяся, и он уронил шест и сел на брёвна, как садятся старики, когда устанут, и завалился набок, в чёрную воду. Вода приняла его без всплеска. Борода всплыла и легла на ледок, как седая водоросль.

Эйрик уже двигался.

Он упал на колено, за край гати, где брёвна были выше, и вторая стрела, предназначенная ему, прошла над головой и ушла в болото. Третья ударила в бревно в пальце от его руки и задрожала.

— Тиль, вниз! — рявкнул он.

Тиль стоял столбом. Он смотрел на то место, где только что был Эмрих, и рот у него был открыт.

Эйрик рванул его за плащ, и мальчишка рухнул рядом, на брёвна, и четвёртая стрела вонзилась туда, где только что была его грудь.

С островка донёсся свист, и из-за сосен, из-за кочек, из высокой бурой осоки поднялись люди.

Их было восемь. Нет, девять. Эйрик сосчитал их сразу, не думая, как считал всегда. Двое с луками на островке, под соснами. Семеро шли по гати навстречу, с двух сторон, спереди и сзади, отрезая путь. Одеты кто во что: овчины, рваные кафтаны, на одном старая кольчуга без рукавов, на другом шлем с вмятиной. Оружие тоже разное: топоры, тесаки, рогатина, у одного длинный кавалерийский меч, ржавый, с выщербленным лезвием. Лица заросшие, грязные, худые, с ввалившимися глазами. Болотные люди. Беглые, дезертиры, бывшие крестьяне из сожжённых деревень. Таких по краям Вальдмарка было много. Они жили в лесах и на болотах, грабили обозы и убивали путников, и Орден их не трогал, потому что у них не было Тлена. У них не было ничего.

— Серые! — крикнул тот, что с кавалерийским мечом. Он был выше остальных, рыжебородый, с рваным ухом. — Глянь, серые! Клеймёные! Вот это улов!

— За клеймёного в Ротбахе дают десять золотых, — сказал кто-то сзади. — За живого. За голову пять.

— Живыми не возьмём, — сказал рыжебородый. — Видал того, здорового? Голову бери. Пять тоже деньги.

Эйрик встал.

Он встал медленно, во весь рост, и рыжебородый невольно сделал шаг назад. Так бывало всегда. Люди видели его сидящим, или издали, или на коне, и не понимали, какой он. А когда он вставал рядом, понимали.

Он вытащил меч.

Меч у него был длинный, полуторный, тяжёлый, с широким клинком, которым можно было и рубить, и колоть. Ему дали его на посвящении, пятнадцать лет назад. На клинке у основания был выбит круг с языком пламени. Эйрик держал его одной рукой, низко, остриём к брёвнам.

— Тиль, — сказал он не оборачиваясь. — Назад. Держи тех, что сзади. Не дай им подойти к моей спине.

— Брат Эйрик, я...

— Держи.

Он услышал, как за спиной Тиль поднялся и с лязгом вытащил свой меч.

Рыжебородый смотрел на Эйрика. Потом оскалился, показав гнилые зубы, и крикнул:

— Бей!

Лучники выстрелили одновременно. Эйрик видел, как они натянули тетивы, и шагнул вперёд и влево, к краю гати, и обе стрелы прошли справа. А потом передние трое оказались рядом.

Первый, коренастый, в овчине, с топором, замахнулся сверху, широко, по-мужицки, как рубят дрова. Эйрик не стал отбивать. Он шагнул под удар, вплотную, и топорище ударилось ему в плечо, в кольчугу, без вреда. А его меч в это время вошёл коренастому под рёбра, снизу вверх, на две ладони. Коренастый охнул, удивлённо, по-детски. Эйрик выдернул меч и толкнул его плечом в болото.

Второй, тощий, с тесаком, уже бил сбоку. Эйрик развернулся и встретил тесак клинком, у самой рукояти, и тесак отлетел, звеня, и тощий отшатнулся, и Эйрик, продолжая разворот, рубанул его по шее. Не до конца. Голова тощего откинулась набок на лоскуте кожи, и кровь ударила вверх струёй, горячая, парящая на морозе, и брызнула Эйрику в лицо. Он не вытер её.

Третий был с рогатиной. Он не лез, он держался на расстоянии и тыкал, целя в лицо, в ноги, в живот, быстро, умело. Охотник, наверное. Эйрик отбил раз, другой, а на третий поймал древко левой рукой, прямо за наконечником, дёрнул на себя, и охотник полетел вперёд, на его меч. Меч вошёл ему в живот и вышел из спины.

Это заняло столько времени, сколько нужно, чтобы трижды вдохнуть.

Рыжебородый стоял в десяти шагах и смотрел. Он больше не скалился.

За спиной Эйрик слышал звон, хрип, тяжёлое дыхание. Тиль. Он обернулся на миг. Мальчишка стоял на гати, расставив ноги, и отбивался от двоих, отступая шаг за шагом. Неплохо отбивался, для года службы. Но отступал. Ещё пять шагов, и он упрётся Эйрику в спину. Ещё десять, и упадёт.

Эйрик развернулся и пошёл назад.

Он прошёл мимо Тиля. Первый из двоих, широкоплечий, в шлеме с вмятиной, увидел его и попытался поменять стойку. Не успел. Эйрик ударил его в шлем, сверху, всей тяжестью, как бьют молотом по наковальне. Шлем выдержал. Шея нет. Широкоплечий сложился, как пустой мешок. Второй, молодой, почти мальчишка, ровесник Тиля, бросил топор и побежал. Он бежал по гати, оскальзываясь, и кричал что-то тонким голосом.

Эйрик его не догонял.

Он обернулся. Рыжебородый и ещё двое шли к нему по гати. Лучники на островке натягивали луки.

— Тиль, — сказал Эйрик. — Ложись.

Тиль лёг. Стрелы ушли поверх, в болото.

Рыжебородый был хорош. Это Эйрик понял после первого обмена ударами. Он держал свой ржавый кавалерийский меч правильно, двумя руками, и бил коротко, без замаха, и ноги ставил так, как учат в королевских полках. Бывший солдат. Дезертир, наверное. Двое других заходили с боков.

Эйрик убил левого первым. Тот был медленнее. Обманное движение на рыжебородого, разворот, удар. Левый упал в воду, держась за разрубленное плечо, и закричал, и кричал долго.

Правый успел. Его тесак скользнул по кольчуге на боку, разорвал куртку и вошёл в мясо под рёбрами. Неглубоко. Эйрик почувствовал это как удар кулаком, тупой и горячий. Он схватил правого за горло левой рукой, поднял, как поднимают щенка за шкирку, и сжал. Правый захрипел, засучил ногами. Эйрик сжимал. Под пальцами что-то хрустнуло. Он отбросил тело в болото.

Рыжебородый воспользовался этим и ударил.

Удар пришёл сверху, в голову. Эйрик успел подставить меч, но плохо, наискось, и ржавый клинок соскользнул с его клинка и рассёк ему лоб над левой бровью. Кровь сразу залила глаз. Эйрик отступил на шаг, моргая. Рыжебородый засмеялся и ударил снова.

А потом клеймо полыхнуло.

Это было не как у костра. Это было больше. Жар ударил изнутри, из-под рёбер, в руки, в ноги, в голову, и мир вдруг стал медленным, как будто всё вокруг погрузилось в густой мёд. Эйрик видел, как опускается ржавый клинок, медленно, медленно, и видел каждую щербинку на нём, каждое пятно ржавчины. Видел, как раскрылся в крике рот рыжебородого, и гнилые зубы, и капельки слюны, летящие изо рта. Видел, как на островке лучники натягивают тетивы, медленно, как во сне.

И голос внутри сказал, тихо и ласково:

— Хочешь?

Эйрик не ответил. Ему не нужно было отвечать. Его тело ответило само.

Он шагнул вперёд, под клинок, и ржавый меч прошёл мимо его плеча. Эйрик ударил рыжебородого лбом в лицо. Хрустнул нос. Эйрик бросил свой меч, схватил рыжебородого двумя руками за голову, за рыжие волосы и бороду, и рванул вниз, навстречу своему колену. Раз. Два. Три. На третий раз что-то под коленом подалось, мягко, как подаётся гнилая тыква. Эйрик отпустил. Рыжебородый упал на брёвна лицом вниз и больше не двигался.

Стрела ударила Эйрику в плечо, в кольчугу, и застряла в звеньях. Он не почувствовал её.

Он подобрал меч и пошёл к островку. По пояс в ледяной воде, через кочки, ломая тонкий лёд. Лучники стреляли в него. Одна стрела попала в бедро, неглубоко, и он выдернул её на ходу и бросил. Лучники стреляли ещё. Потом перестали стрелять и побежали.

Он догнал одного у сосен. Второй ушёл в болото, и Эйрик слышал, как он кричит где-то там, в сизой мути, всё тише и тише, а потом крик оборвался, и болото чмокнуло, как чмокает рот, проглатывая.

Эйрик стоял у сосен, по колено в воде, и дышал.

Жар уходил из него медленно, неохотно. Мир становился прежним: быстрым, серым, холодным. Кровь из рассечённого лба заливала левый глаз, и он вытер её рукавом. Бок под рёбрами горел, бедро горело. Он посмотрел на свои руки. Они были красными по самые запястья, и на правой, между пальцами, застрял рыжий волос.

Он не помнил, сколько времени прошло. Он не помнил, как шёл к островку. Он помнил только жар и голос, который спросил «хочешь?», и то, что он не ответил, а тело ответило за него.

— Брат Эйрик!

Тиль стоял на гати, у тела рыжебородого, и смотрел на него. Лицо у мальчишки было белым и мокрым, и Эйрик не сразу понял, что тот плачет.

— Брат Эйрик, ты... ты...

— Цел? — спросил Эйрик.

Тиль кивнул. Потом посмотрел на рыжебородого, на то, что осталось от его лица, и согнулся пополам, и его вырвало на брёвна.

Эйрик побрёл обратно к гати.

Ноги были тяжёлыми, вода цеплялась за них, как живая. Он выбрался на брёвна, сел. Расстегнул куртку, задрал кольчугу, посмотрел на бок. Рана была длинной, но неглубокой. Кровь текла, но не толчками. Жить будет. Он оторвал полосу от подола рубахи и туго перетянул бок. Потом то же с бедром.

Клеймо под его пальцами, когда он затягивал повязку, было тёплым и спокойным, как сытый кот.

— Ты молчишь, — сказал Эйрик тихо, так, чтобы Тиль не слышал. — Почему ты молчишь?

Клеймо не ответило. Только тепло, ровное и довольное.

Эйрик долго смотрел на тела на гати. Пятеро на брёвнах, четверо в воде, если считать того, что кричал в болоте. Девять человек. Эмрих десятый. Он не чувствовал ничего. Это было привычно. Он никогда ничего не чувствовал после боя. Но сейчас к этому «ничего» примешивалось что-то новое. Не вина, не жалость. Голод. Маленький, далёкий, глухой голод, как будто он не ел три дня. И он не мог понять, его это голод или чужой.

* * *

Самоеда они встретили в сумерках.

До Мшаника оставалось меньше версты, уже были видны огоньки деревни, жёлтые точки на сизом. Гать кончилась, и под ногами пошла узкая тропа по сухой гриве, между чахлыми ёлками. Эйрик шёл первым, медленно, припадая на раненую ногу. Тиль шёл сзади. Он молчал с самой засады.

У поворота тропы, там, где грива спускалась к небольшому чёрному озерцу, на берегу сидела старуха.

Она сидела на корточках у самой воды, спиной к ним, ссутулившись, и длинные седые волосы падали ей на плечи и спину и почти касались земли. Мокрые волосы, свалявшиеся, завитые мелким бесом. Она что-то делала руками у лица, и слышался тихий звук, мерный, причмокивающий.

— Бабушка? — позвал Тиль. Голос у него был хриплым. — Бабушка, вы из Мшаника? Мы ищем травницу...

Клеймо Эйрика замёрзло. Сразу, целиком, как в Гриме у пепелища, только сильнее, так, что он задохнулся от холода.

— Тиль, стой, — сказал он.

Но Тиль уже шёл к старухе, медленно, с вытянутой рукой, как идут к испуганному животному.

Старуха перестала причмокивать.

Она медленно повернула голову. Седые волосы разошлись, и из них торчали два уха. Высокие, острые, с надорванными краями, как у свиньи. Потом показалось лицо.

Оно было почти человеческим. Маленький вздёрнутый нос. Тонкие губы. Мягкий подбородок, как у пожилой женщины. Только глаза были белые, целиком белые, без радужки и зрачка, как два очищенных варёных яйца. И рот. Рот был разрезан до самых ушей, и в нём частоколом стояли мелкие жёлтые зубы, загнутые внутрь, в три ряда.

Она держала у рта собственную левую руку. Рука была обглодана у локтя до кости, и из обглоданного места свисали лоскуты розового, мокрого мяса. Изо рта у неё высунулся язык,

длинный, красный, мокрый, толщиной в палец, и медленно облизал обгрызенное место. Там, где он прошёл, на кости набухло что-то розовое, блестящее, покрытое тонкой плёнкой, как у новорождённого телёнка.

Мясо нарастало. Самоед смотрел на Тиля белыми глазами и ждал, пока оно нарастёт.

Тиль стоял в четырёх шагах. Он не двигался. Он не мог двинуться. Эйрик видел его спину и знал, что сейчас с ним происходит, потому что это происходило со всеми, кто видел гостя впервые. Тело отказывалось верить. Разум отказывался понимать. Ноги не слушались. Мгновение. Одно мгновение.

Этого мгновения Самоеду хватило.

Он прыгнул с корточек, без разбега, без единого звука. Мелькнуло серое, пятнистое, как разваренная рыба, тело, мелькнули багровые, будто обваренные кипятком, ноги и птичьи лапы с чёрными когтями. Тиль закричал. Самоед повис на нём, обхватив его ногами, и вгрызся ему в руку. В левую. У локтя. Туда же, куда грыз себя.

Эйрик был рядом через два шага. Он не помнил, как пересёк их. Меч был у него в руке. Он ударил Самоеда по шее, сверху, со всей силы, и клинок прошёл насквозь, и голова в седых волосах отлетела в сторону и покатилась к воде. Тело не отпустило. Челюсти не разжались. Голова лежала на берегу, белые глаза смотрели в сизое небо, а зубы всё ещё были сомкнуты на руке Тиля, и туловище висело на мальчишке, сжимая его ногами, и когти птичьих лап скребли по кольчуге.

Эйрик схватил туловище и оторвал его. Оно было лёгким и холодным, как дохлая рыба, и пахло гнилой водой. Он бросил его на землю. Туловище задёргалось, засучило ногами, перевернулось на живот и поползло. Не к воде. К голове.

Эйрик разрубил его пополам. Потом ещё раз. Куски дёргались.

— Огонь, — сказал он. — Тиль. Огниво. Смолу. Быстро.

Тиль не ответил. Он сидел на земле и держался за руку, и сквозь его пальцы текла кровь, тёмная, почти чёрная в сумерках. Из руки у него всё ещё торчали зубы. Голова Самоеда отвалилась от неё и лежала рядом, у его колена, и смотрела на него белыми глазами.

Голова моргнула.

Тиль закричал снова.

Эйрик сам достал огниво из мешка Тиля, сам облил куски смолой из фляги, сам высек искру. Куски вспыхнули. Он поддел голову мечом, как поддевают ком земли лопатой, и бросил её в огонь. Голова зашипела. Волосы вспыхнули разом, как сухая трава, и запахло палёным, и белые глаза лопнули, и из них вытекло что-то мутное. Челюсти в огне медленно разжались. Потом снова сомкнулись. Потом разжались совсем.

Клеймо оттаяло.

Эйрик опустился на колени рядом с Тилем.

— Покажи.

Тиль отнял руку. Рукав был разорван от запястья до плеча. У локтя, с внутренней стороны, была рваная рана, глубокая, до кости, и из неё торчали два жёлтых загнутых зуба, обломившихся в мясе. Края раны уже начали темнеть. Не краснеть, а темнеть, сереть, как сереет мясо, которое полежало на солнце.

Эйрик вытащил зубы. Тиль закричал и потерял сознание.

Эйрик перетянул ему руку выше локтя ремнём, крепко, до хруста. Поднял на руки. Мальчишка был лёгким, как ребёнок.

Огоньки Мшаника светились впереди, меньше чем в версте. Эйрик пошёл к ним, припадая на раненую ногу, с Тилем на руках. Бок горел. Бедро горело. Голова гудела. Рана над бровью снова открылась, и кровь заливала глаз. Он шёл и не чувствовал ничего, кроме веса на руках.

«Привези», — сказал он Тилю два дня назад. — «Булки».

Мшаник оказался маленьким, домов в пятнадцать, сбившихся на сухой гриве, как овцы в кучу перед грозой. Эйрику на миг показалось, что он уже был здесь. Он отогнал эту мысль: за пятнадцать лет болотных деревень было столько, что все они слились в одну, с одним колодцем и одним столбом. Дома были низкие, срубленные из чёрной болотной ели, с крышами из камыша, придавленными жердями. Над каждой крышей торчал шест с пучком сухой полыни: от нечисти. Улицы не было, только тропинки между домами, утоптанные до глины. В окнах горели лучины.

Эйрик постучал в первую же дверь ногой, потому что руки были заняты.

Открыла женщина, увидела его, огромного, в крови, с телом на руках, в сером плаще с кругом и пламенем, и захлопнула дверь. Он постучал снова.

— Травница, — сказал он через дверь. — Где живёт травница?

Молчание. Потом из-за двери, глухо:

— Крайний дом. У воды. С зелёными ставнями.

Дом Ильвы стоял на самом краю гривы, у чёрной воды, особняком от остальных, как стоит в деревне дом знахарки или повитухи: и нужен всем, и все побаиваются. Он был чуть выше и чище других. На ставнях действительно была зелёная краска, облупленная, но ещё яркая. Из трубы шёл дым, и от этого дыма пахло не так, как от других: не торфом и не сырой елью, а чем-то горьким и пряным, полынью, чабрецом, мятой.

Дверь открылась раньше, чем он успел постучать.

На пороге стояла молодая женщина с лучиной в руке. Свет лучины падал снизу ей на лицо, и Эйрик увидел сначала только глаза. Большие, светлые, серо-зелёные, как вода в лесном ручье над мхом. Ясные. Без единой серой нити. Потом увидел остальное: узкое бледное лицо, высокие скулы, тёмные брови, прямой нос и шрам, тонкий, белый, через всю левую щёку, от уха до уголка губ, давний, хорошо заживший. Волосы светлые, пепельные, заплетённые в толстую косу, перекинутую через плечо. Простое шерстяное платье, серое, с подвёрнутыми до локтя рукавами. Руки в мелких царапинах и зеленоватых пятнах, как бывает у тех, кто весь день перебирает травы.

Она посмотрела на Эйрика. На его плащ. На кровь у него на лице. На Тиля у него на руках.

Она не удивилась. Не испугалась. Она посмотрела на него так, как смотрят на гостя, которого ждали, но не в этот час. Потом её взгляд задержался на его руках, на ладонях, в старых белых ожогах. Задержался на один вдох дольше, чем нужно. Эйрик не понял почему.

— Неси на стол, — сказала она и отступила в сторону. — Быстро.

* * *

Дом внутри был одной большой комнатой с печью посередине. С потолочных балок свисали пучки трав, сотни пучков, они висели так густо, что потолка не было видно, и от них шёл тот самый горький пряный запах. Вдоль стен стояли полки, а на полках горшки, кувшины, туески из бересты, мешочки, перевязанные бечёвкой. У окна был длинный стол, выскобленный добела. На нём лежали ножи, ступка с пестиком, мотки чистого льняного полотна.

Эйрик положил Тиля на стол. Мальчишка застонал, не приходя в себя.

Ильва уже была рядом. Она взяла его руку, развязала ремень, которым Эйрик перетянул её выше локтя, и долго смотрела на рану, поднеся лучину так близко, что пламя почти касалось кожи.

Края раны были серыми. Серость расползалась от них вверх и вниз по руке, тонкими ветвистыми нитями, как прожилки в мраморе, как трещины в весеннем льду. Нити были уже у запястья. И у плеча.

— Что его укусило? — спросила Ильва.

— Гость.

Она подняла на него глаза.

— Старуха у озера? Та, что ест себя?

Эйрик помолчал.

— Ты её видела.

— Я её слышала, — сказала Ильва и снова опустила глаза к ране. — Она здесь с осени. Сидит у озера и ест. Я ходила мимо, когда собирала белокрыльник, и слышала, как она чмокает. Я сказала старосте, чтобы детей не пускали к озеру. Он не поверил. Потом пропали две козы. Тогда поверил.

Она взяла с полки горшок, сняла с него крышку. Запахло резко, едко, как от уксуса, смешанного с дёгтем.

— Держи его, — сказала она. — Крепко. Будет больно, даже если он не в себе.

Эйрик держал. Она вымыла рану этим едким, и Тиль выгнулся дугой на столе и закричал, не открывая глаз, и Эйрик прижал его к столу за плечи. Потом она взяла тонкий нож, сунула его в пламя лучины, подождала, пока лезвие потемнеет, и начала вырезать серое.

Она резала быстро и точно, без лишних движений, как режет мясник, который знает, где проходят жилы. Срезанное бросала в глиняную миску у стола. Кровь текла, и она промокала её полотном и резала дальше. Эйрик смотрел на её руки. Маленькие руки, в царапинах и зелёных пятнах. Они не дрожали.

Через полчаса она отложила нож.

Серые нити никуда не делись. Они ушли глубже, под кожу, и теперь их было видно, как видно вены на запястье у старика: синевато-серые, ветвистые, от кисти до плеча. На шее, у ключицы, под самой кожей, проступила первая тонкая нить.

Ильва долго смотрела на неё. Потом вытерла руки о полотно и посмотрела на Эйрика.

— Я не смогу, — сказала она.

Эйрик молчал.

— Это не Тлен, — продолжала Ильва ровно, тихо. — Похоже, но не Тлен. Тлен в голове. Это в крови. Оно идёт к сердцу. Я могу отнять руку, но оно уже выше. Оно уже в плече, в шее. Я могу дать ему мак, чтобы ему не было больно. Это всё, что я могу.

— Сколько?

— До утра. Может, до полудня. Он молодой, сердце сильное. Это хуже. Дольше.

Эйрик посмотрел на Тиля. Мальчишка лежал на столе, белый, с запавшими глазами, и дышал часто и мелко, как дышит загнанный заяц. Уши у него больше не были красными. Ничего у него больше не было красным.

— Дай мак, — сказал Эйрик.

* * *

Ильва напоила Тиля маковым отваром, укрыла его овчиной, подложила под голову свёрнутый плащ. Потом повернулась к Эйрику.

— Теперь ты. Садись.

— Я не...

— Садись, — повторила она. — У тебя кровь в глазу, рана на боку и стрела была в бедре. Я видела, как ты шёл. Если ты упадёшь посреди ночи, я тебя не подниму. Садись.

Он сел на лавку у печи. Она сняла с него плащ, помогла стянуть кольчугу. Кольчуга была тяжёлой, и Ильва охнула, когда приняла её на руки, и чуть не уронила. Потом стянула с него куртку, рубаху. Он сидел перед ней голый по пояс, огромный, в старых шрамах и свежей крови, и на груди у него, слева, над сердцем, темнело клеймо.

Ильва посмотрела на клеймо. Долго. Потом подняла глаза к его лицу.

— Оно тёплое, — сказала она.

Это был не вопрос. Эйрик промолчал.

Она промыла ему лоб, зашила рассечённую бровь пятью стежками тонкой жильной ниткой. Он не морщился. Она промыла рану на боку, зашила и её. Потом бедро. Она шила так

же быстро и точно, как резала, и он смотрел на её руки, на маленькие ловкие пальцы, на иглу, которая входила и выходила, и тянула за собой нить. Её дыхание пахло мятой. Коса свесилась ей через плечо и щекотала ему колено.

Он не помнил, когда к нему в последний раз прикасалась женщина. Кроме тех, кого он вёл к столбу.

— Сколько ты сжёг? — спросила Ильва.

Она спросила это тихо, не поднимая головы, затягивая узел на последнем стежке. Как спрашивают о погоде. Или о дороге.

Эйрик молчал долго.

— Не считал, — сказал он.

— Не считал, — повторила она. Откусила нитку. — А первый? Первого помнишь?

Эйрик не ответил. Он не помнил. Первый костёр был где-то на болотах, в его пятнадцать, и от него осталась только дрожь в руках, которую он прятал от братьев.

Ильва кивнула, будто именно этого и ждала.

— А они считали, — сказала она.

— Кто?

Ильва выпрямилась. Убрала иглу. Посмотрела на него. И потом посмотрела мимо него, ему за плечо, туда, где у двери был тёмный угол.

Взгляд у неё стал странный. Не испуганный. Сосредоточенный и печальный, как у человека, который слушает далёкую музыку и пытается разобрать слова.

— Женщина с синими руками стоит у твоей двери, — сказала она негромко. — Она не сердится. Она просит передать, что мальчик ушёл к реке и не вернулся в дом. Что ей за него страшно. За ней стоит парень, светлый, широкоплечий. Он ничего не говорит. Он просто смотрит на тебя. За ним ещё. Много. Я не вижу, где кончается. — Она помолчала. — Ты носишь их с собой, как собака носит блох. Они идут за тобой. Они не могут иначе.

Эйрик не обернулся. Он сидел на лавке, неподвижный, и чувствовал, как по спине, по голой коже между лопатками, медленно ползёт холод. Не от клейма. Клеймо было тёплым. Холод шёл от двери.

— Ты одержимая, — сказал он. Голос был хриплым.

— Нет, — сказала Ильва. — Посмотри мне в глаза.

Он посмотрел. Серо-зелёные. Ясные. Как вода над мхом.

— Я с детства их слышу, — сказала она. — Мёртвых. Сколько себя помню. Мать тоже слышала. И бабка. Мать сожгли, когда мне было девять. Здесь, у нашего колодца. Не за Тлен. За то, что слышала. Пришёл монах из Ордена, посмотрел ей в глаза медным зеркальцем и кивнул. Я сидела в камыше у старой мельницы и смотрела. А когда загорелось, побежала. — Она коснулась пальцами шрама на щеке. — Это головня. Я хотела её вытащить. Меня оттащили. Отец потом перенёс дом сюда, на самый край, к воде. Сказал, что сюда Орден больше не придёт. Он ошибся. Отец умер пять лет назад. С тех пор я живу одна. Лечу. Слушаю. Иногда хожу на старые кострища, собираю там травы. Там хорошие травы растут. Знаешь почему?

Эйрик молчал.

— Потому что там много пепла, — сказала Ильва. — Пепел хорошо удобряет землю. Люди говорят, что я хожу туда говорить с мёртвыми. Я хожу туда за травой. А мёртвые говорят со мной везде. Им не нужно кострище.

Она встала, взяла с полки чистую рубаху, мужскую, большую, выцветшую. Отцовскую, наверное. Бросила ему.

— Надень. Твоя в крови.

Он надел. Рубаха была мала в плечах и пахла сундуком и полынью.

— Ты пришёл за мной, — сказала Ильва. Опять не вопрос.

— Да.

— Жечь?

— Нет. Привести в обитель. Магистр хочет тебя видеть.

— Живой?

— Живой.

Ильва долго смотрела на него. Потом кивнула.

— Я знала, что ты придёшь, — сказала она. — Мне сказали ещё вчера. Мать сказала. Она сказала: «Придёт большой, с огнём в груди. Иди с ним. Он не сожжёт». — Ильва чуть улыбнулась, одним уголком рта, тем, через который шёл шрам. — Мать часто ошибается. Но я ей всё равно верю. Глупо, да?

Эйрик ничего не ответил.

— Утром, — сказала Ильва. — Когда он уйдёт. — Она кивнула на Тиля. — Я не оставлю его одного. И ты не оставишь.

* * *

Тиль умер на рассвете.

Он не приходил в себя всю ночь. Ильва сидела рядом с ним на лавке, держа его здоровую руку в своих, и что-то тихо напевала: без слов, просто мелодию, медленную и низкую, похожую на колыбельную. Эйрик сидел у печи и смотрел. Серые нити поднимались по шее мальчишки всё выше, к подбородку, к щекам, ветвились под кожей, как изморозь на окне. Тиль дышал всё медленнее. Под утро он вдруг открыл глаза.

Глаза были серые. Целиком. Без зрачков. Как у Самоеда.

Но смотрели они не пусто. Они смотрели на Эйрика, и в них было узнавание.

— Брат Эйрик, — прошептал Тиль. Голос был слабым, хриплым, совсем детским. — Брат Эйрик... Холодно. Здесь. — Он попытался поднять руку к груди, туда, где под рубахой было клеймо, и не смог.

Эйрик встал и подошёл. Опустился на колени у стола. Взял его руку, ту, что не держала Ильва. Рука была ледяной.

— Знаю, — сказал Эйрик.

— Это благословение? — прошептал Тиль. — Ты говорил... это благословение.

Эйрик держал его ледяную руку в своей, обожжённой, огромной. Он мог сказать «да». Это было бы тепло. Мальчишке было бы легче.

Он открыл рот, чтобы сказать «да», и не смог.

— Не знаю, Тиль, — сказал он. — Я не знаю.

Тиль смотрел на него серыми глазами. Потом медленно, очень медленно, улыбнулся. Той же улыбкой, что тогда на дороге, когда рассказывал про пекарню.

— Мать... печёт с тмином... — прошептал он. — Я привезу...

Он не договорил.

Ильва ещё долго пела. Потом замолчала, положила руку Тиля ему на грудь и закрыла ему глаза. Эйрик всё стоял на коленях у стола и держал вторую руку. Она остывала у него в ладони, и он чувствовал, как уходит из неё последнее тепло, медленно, по капле, как уходит тепло из углей под солью.

Где-то очень далеко, в Ольме, у рыночной площади, в маленькой пекарне на три печи, женщина сейчас вставала до рассвета, чтобы замесить тесто. Она не знала. Она узнает через месяц, когда придёт бумага из обители. Огонёк, который она держала в груди восемь лет, погас здесь, в болотах, на выскобленном добела столе, под пучками сухой полыни. А она ещё печёт.

Эйрик сидел на коленях и смотрел на Тиля. Он ждал, что почувствует что-нибудь. Он прислушивался к себе, как прислушиваются к пустому дому. И впервые за пятнадцать лет в пустом доме были шаги.

— Он здесь, — сказала Ильва тихо, за его спиной. — Он стоит у печи. Он не понимает, где он. Он ищет тебя.

Эйрик не обернулся.

— Скажи ему... — начал он и замолчал. Он не знал, что сказать.

— Я скажу ему, что ты не знаешь, — сказала Ильва. — Он поймёт. Он уже понял.

Клеймо под чужой рубахой было тёплым. Оно молчало. Но Эйрик знал, что оно слушает. Что оно слушало всю ночь: и колыбельную, и дыхание, и последние слова. Что ему было сладко.

Береги их, сказал голос две ночи назад. Чем больше бережёшь, тем больнее будет терять.

Эйрик не берёг Тиля. Он почти не замечал его. Он и сейчас не знал толком, что чувствует: горе, вину или просто усталость после долгой ночи. Но клеймо было тёплым, как сытый кот, и это тепло Эйрик ненавидел впервые в жизни.

Ильва положила руку ему на плечо. Маленькую руку, в царапинах и зелёных пятнах.

— Тот, кто в тебе, — сказала она тихо, так тихо, что он едва расслышал. — Он тоже меня слышит.Я чувствую. Он смотрит на меня из тебя.

Эйрик медленно поднял голову.

За окном с зелёными ставнями над болотом вставал серый рассвет. Мёртвый пепельный свет ложился на воду, на камыш, на чахлые ёлки, и где-то далеко, над старым Мшаником, над островком, где ползала требуха, медленно поднимался тонкий столб пара. Прямой, как струна. Как печной дым над деревней, в которую едет Орден.

Глава 4. Отец Морвен

Кто становится нам отцом? Тот, кто дал нам кровь? Тот, кто вынес нас из огня? Или тот, кто научил держать огонь в руках? Мы любим их не за то, что они правы. Мы любим их за то, что они были рядом, когда больше никого не было. И потому, когда приходит время спросить, правы ли они, вопрос этот режет не их, а нас самих. Легче сжечь сотню чужих, чем один раз усомниться в том, кто однажды разжал тебе обожжённые пальцы.

Тиля сожгли в Мшанике, на сухом берегу у чёрной воды.

Так требовал устав. Тот, кого коснулся гость, не ложится в землю. Эйрик знал это правило с первого года службы и никогда не думал, зачем оно. Теперь думал. Он думал об этом, пока складывал поленницу из сухого ельника, который принесли деревенские. Деревенские принесли его быстро и молча, и ни один не подошёл ближе, чем на двадцать шагов. Он думал об этом, пока обматывал Тиля его собственным серым плащом с вышитым кругом и пламенем. Он думал об этом, пока высекал искру.

Ильва стояла рядом. Она не плакала и не пела. Она смотрела не на костёр, а чуть в сторону, туда, где у воды росла сухая осока, и Эйрик не спрашивал, что она там видит.

Огонь взялся быстро. Смолы у Эйрика не осталось, но ельник был сухим, и он горел жарко, с треском, выбрасывая в серое небо снопы искр. Клеймо под чужой рубахой потеплело, как всегда у огня. Эйрик стоял и ждал, что голос скажет что-нибудь. Голос молчал. Только тепло, ровное, довольное.

Когда огонь опал, Эйрик засыпал угли. Соли не было, и он засыпал их болотной землёй, тяжёлой, чёрной, мокрой, лопату за лопатой. Ильва смотрела.

— Зачем? — спросила она.

— Так положено.

— Это я знаю, что положено. Я спросила зачем.

Эйрик воткнул лопату в землю. Помолчал.

— Не знаю, — сказал он.

Ильва кивнула, будто именно этого ответа и ждала.

Меч Тиля Эйрик завернул в мешковину и привязал к своему мешку. Меч был короткий, лёгкий, плохой, с зазубренным лезвием: таким дают тем, кто прослужил меньше года. Эйрик сам не знал, зачем его взял. Устав велел вернуть оружие в обитель. Но Эйрик думал не об уставе. Он думал о пекарне в Ольме, у рыночной площади, на три печи, и о женщине, которая встаёт до рассвета.

* * *

До обители было пять дней пути.

Ильва шла пешком до хутора, где ждали кони, а потом ехала на кобыле Тиля, маленькой, мохнатой, буланой, с белой звёздочкой на лбу. Ехала она плохо, сидела в седле боком, по-женски, и держалась за луку обеими руками, но не жаловалась. Она вообще мало говорила в дороге. Эйрик тоже. Они ехали рядом, молча, по серым полям и через голые перелески, и ночевали в сараях и на постоялых дворах, где хозяева, увидев серый плащ Эйрика, отводили глаза и давали лучшую комнату, а потом шептались за стенкой.

Связывать её Эйрик не стал. Устав велел. Он не стал. Ильва это заметила, но ничего не сказала. Только в первую ночь, на постоялом дворе в Ольме, когда он лёг на пол у двери её комнаты, завернувшись в плащ, она выглянула и спросила:

— Боишься, что убегу?

— Нет.

— Тогда зачем на полу?

— Чтобы к тебе никто не вошёл.

Ильва помолчала. Потом закрыла дверь. Он слышал, как она ходит по комнате. Потом всё стихло.

В Ольме он хотел зайти в пекарню у рыночной площади. Он дошёл до площади и увидел её. Маленький дом с двумя трубами, из которых шёл дым. На вывеске был нарисован калач, облупившийся, но ещё золотой. В окне горел свет. Он стоял на другой стороне площади и смотрел на окно. Потом повернулся и ушёл. Он не знал, что ей сказать. Он умел говорить только «пора».

На третий день Ильва спросила о магистре.

— Какой он?

Они ехали по берегу реки Вельды, широкой, мутной, ещё не замёрзшей посередине, и вдоль берега тянулись голые ивы, склонённые к воде, как плакальщицы на похоронах.

Эйрик долго думал, прежде чем ответить.

— Он вынес меня из огня, — сказал он наконец.

— Это я знаю. Ты рассказывал. Какой он?

— Добрый, — сказал Эйрик. Он сам удивился, что это слово пришло первым. — Тихий. Никогда не кричит. Когда сердится, говорит ещё тише. Пахнет воском и мятой. У него тяжёлые руки. — Он помолчал. — Он всё понимает. Всегда. Что бы ты ни сказал. Ты ещё не договорил, а он уже понял, что ты хотел сказать, и что не сказал, и почему.

Ильва смотрела на него сбоку.

— Ты его любишь, — сказала она.

Эйрик не ответил.

— Ты его любишь, — повторила Ильва тихо, — и ты везёшь меня к нему, и ты не знаешь, что он со мной сделает. И ты боишься об этом думать. Потому что если он сделает со мной то же, что делали с моей матерью, тебе придётся думать о нём по-другому. А ты не умеешь думать о нём по-другому.

— Ты слышишь это у мёртвых? — спросил Эйрик. Голос его был жёстче, чем он хотел.

— Нет, — сказала Ильва. — Это я вижу у живого.

Больше они о нём не говорили.

* * *

Обитель Святого Пламени стояла на скале над Вельдой, в двух верстах от города Вельде, и её было видно издалека.

Сначала из-за холма показалась колокольня, высокая, узкая, чёрная, похожая на поднятый к небу палец. Потом стены, тоже чёрные, сложенные из тёмного базальта, который добывали здесь же, в скале. Стены были высокими и толстыми, с зубцами и узкими бойницами, и обитель больше походила на крепость, чем на монастырь. Она и была крепостью. Сто лет назад, когда Пепельная чума только начиналась и по Вальдмарку бродили толпы обезумевших, первые братья Ордена укрылись здесь, в древнем замке разорённых герцогов, и выдержали восемь месяцев осады. С тех пор замок стал обителью, но стены не стали ниже.

Над стенами поднимался дым. Не печной, не серый. Ровный, прямой, белый столб, который никогда не гас. Неугасимый огонь. Он горел в главном зале обители сто лет, с того самого дня, когда первый магистр, Эрменрих Пепельный, зажёг его от угля, вынесенного из первого очищенного костра. Огонь кормили день и ночь. Если бы он погас, говорили братья, Пламя ушло бы из Вальдмарка.

Эйрик смотрел на белый столб над стенами, и клеймо на его груди теплело с каждым шагом коня. Так было всегда, когда он возвращался домой. Раньше он принимал это за радость.

Ильва смотрела на обитель молча. Лицо у неё было белым, а губы сжаты.

— Много, — сказала она вдруг, почти беззвучно.

— Что?

— Их. Там. — Она смотрела на стены. — Очень много. Больше, чем я слышала за всю жизнь. Они не говорят. Они... — Она замолчала, подбирая слово. — Они воют. Как ветер в трубе. Все сразу. Тысячи. — Она закрыла глаза. — Как вы там живёте?

Эйрик не ответил. Он не знал, что ответить. Он прожил там тридцать лет и не слышал ничего, кроме колокола.

У ворот их встретили. Привратник, брат Готфрид, старый, однорукий, с лицом, похожим на печёное яблоко, узнал Эйрика и поднял единственную руку.

— Эйрик! С возвращением, сынок. Пламя с тобой.

— И с тобой.

Готфрид посмотрел на Ильву. Потом на её руки, не связанные, лежащие на луке седла. Потом снова на Эйрика. Ничего не сказал, только пожевал беззубым ртом.

— Где Тиль? — спросил он.

— В Мшанике.

Готфрид помолчал. Он понял. Все старые братья понимали такие ответы сразу.

— Пламя примет, — сказал он и посторонился.

Во дворе обители было людно. Послушники несли дрова к главному залу, брат-эконом ругался с возчиком у амбара, у колодца двое клеймёных точили мечи на круглом точиле, и искры летели из-под камня оранжевым веером. Пахло дымом, конским навозом, кислой капустой из трапезной. Всё как всегда. Эйрик спешился и помог спуститься Ильве. Она оперлась на его руку, и он почувствовал, что её пальцы ледяные и дрожат.

К ним уже шли двое братьев-дознавателей в серых рясах с капюшонами. Эйрик не знал их по именам, только в лицо: старшие, из Тихих келий, из той части обители, куда клеймёным ходить не полагалось.

— Травница Ильва из Мшаника? — спросил один, высокий, с длинным бледным лицом.

Ильва кивнула.

— Магистр ждёт тебя. Не сегодня. Сегодня ты отдохнёшь. Пойдём.

Он взял её за локоть. Не грубо, но так, что было понятно: это не просьба.

Ильва обернулась к Эйрику. Она ничего не сказала. Она просто посмотрела на него своими серо-зелёными глазами, ясными, как вода над мхом, и в этом взгляде не было ни мольбы, ни упрёка. Только тот вопрос, который Эйрик видел уже трижды: у мальчика в Гриме, у мальчика в Хольце, у Матиса в погребе. Камень в ладони.

Потом её увели. Эйрик стоял посреди двора и смотрел, как серые рясы скрываются за аркой, ведущей к Тихим кельям. Ильва не обернулась больше ни разу.

Клеймо под рубахой было тёплым.

— Ты привёз её, — сказало оно. Тихо, только для него. — Как велели. Хороший пёс.

Эйрик стиснул зубы и пошёл к конюшне.

* * *

Кассиан вернулся в обитель за три дня до Эйрика.

Он любил возвращаться. Он любил всё в обители: чёрные стены, которые казались неприступными снаружи и тёплыми изнутри, гул колокола на рассвете, запах воска и ладана в главном зале, скрип старых ступеней на колокольню, по которым они с Эйриком бегали мальчишками. Он любил трапезную с её длинными дубовыми столами, исцарапанными ножами за сто лет, и брата-повара Ульриха, который всегда оставлял ему лишнюю миску каши, потому что помнил его ещё в корзине из-под репы. Он любил тишину по вечерам, когда братья расходились по кельям и обитель затихала, и только Неугасимый огонь гудел в главном зале, ровно и низко, как огромное сердце.

Кассиан знал, что не все братья любят обитель так, как он. Многие терпели её, как терпят службу. Многие боялись её. Эйрик, кажется, вообще ничего к ней не чувствовал, как не чув-

ствовал ничего ни к чему. Но Кассиан любил. Он вырос здесь. Здесь был его дом, его братья, его вера. Здесь был отец Морвен.

В первый же вечер после возвращения он пошёл в главный зал.

Зал был огромным, круглым, под высоким куполом, почерневшим от сажи за сто лет. Посередине, на каменном возвышении в три ступени, в широкой чаше из чёрной бронзы горел Неугасимый огонь. Он горел ровно, высоко, почти до половины купола, белым и жёлтым пламенем, без дыма, и от него шёл такой жар, что подходить ближе чем на десять шагов было нельзя. Вокруг чаши, по кругу, стояли двенадцать столбов из того же чёрного базальта, а на столбах были высечены имена всех магистров Ордена, от Эрменриха Пепельного до нынешнего. Последнее имя, свежее, ещё не потемневшее от копоти, было: Морвен.

У подножия возвышения всегда стояли на коленях двое послушников. Они кормили огонь. Каждые четверть часа один из них поднимался по ступеням и бросал в чашу полено, а второй читал молитву. Так было сто лет, днём и ночью, без перерыва.

Кассиан опустился на колени у дальнего столба и стал молиться.

Он молился за Эйрика. За Тиля. За брата Ансельма, у которого болела спина. За мальчика из Хольца с серыми глазами, которого увёл к реке. За Марту Келлер, ткачиху с синими руками, чтобы Пламя приняло её душу. Он не спрашивал Пламя, была ли она одержимой. Он верил, что Пламя знает. Пламя знало всегда.

Он молился и смотрел в огонь, и огонь смотрел на него, и ему было тепло.

Но сегодня тепло было неполным. Что-то мешало ему, как мешает камешек в сапоге: не больно, но с каждым шагом всё неприятнее. Кассиан знал, что это. Это был Эйрик. Его голос у коновязи в Хольце: «Уведи мальчика». Его лицо у костерка под ивой, когда он сказал Йонасу: «Не знаю». Его вопрос у засыпанного солью кострища в Гриме: «А если Лотар ошибся?»

Пятнадцать лет Эйрик не задавал вопросов. Пятнадцать лет он был как камень: молчаливый, тяжёлый, надёжный. На него можно было опереться. За него можно было спрятаться. Кассиан никогда никому не признавался, но иногда, в самых страшных деревнях, у самых страшных костров, он смотрел на спину Эйрика, на его огромные плечи, на его неподвижные руки с факелом, и ему становилось спокойнее. Если Эйрик не дрожит, значит, всё правильно. Если камень стоит, значит, мир стоит.

А теперь камень треснул. Кассиан видел трещину. Маленькую, в волос. Но он знал, что говорил брат Ансельм про трещины и про воду.

Он закончил молитву и встал. Колени затекли. Он постоял немного, глядя в огонь. Потом повернулся и пошёл через двор, к магистерской башне.

* * *

Отец Морвен принял его в своей комнате на самом верху башни.

Комната была маленькой и простой. Узкая кровать, застеленная серым шерстяным одеялом. Стол, заваленный свитками и книгами. Два стула. Полка с травами в глиняных горшках: мята, мелисса, чабрец. Магистр сам их выращивал, на подоконнике, и сам заваривал. Очаг, в котором тлели угли. Большое окно с видом на Вельду, на излучину реки, на далёкие крыши города, на серые поля до самого горизонта. Пахло воском, мятой и старой бумагой. Кассиан любил этот запах. Это был запах детства, безопасности, тепла.

Магистр сидел у окна в кресле и читал. Он поднял голову, когда Кассиан вошёл, и улыбнулся.

Морвену было шестьдесят два года. Он был высоким, но сутулым, как бывают сутулыми люди, которые много лет провели над книгами. Волосы седые, коротко стриженные, редкие на макушке. Лицо длинное, худое, в глубоких морщинах, особенно у глаз, потому что он часто улыбался. Глаза тёмно-карие, тёплые, внимательные, под густыми седыми бровями. Руки большие, тяжёлые, с длинными пальцами, на которых, как и у Эйрика, были старые ожоги. Морвен тоже держал прут на испытании. Говорили, что тоже до конца молитвы.

— Кассиан, — сказал он. Голос у него был негромкий, глуховатый, тёплый, как и всё в этой комнате. — Садись. Чаю?

— Не нужно, отец.

— Нужно. Ты замёрз. Я вижу. — Магистр поднялся, налил из глиняного кувшина в кружку тёмный, дымящийся отвар, пахнущий мятой, и протянул Кассиану. — Пей. И рассказывай.

Кассиан сел, взял кружку обеими руками. Отвар был горячим, и пальцы, затёкшие от холодного пола в зале, начали оттаивать.

Он рассказал. О Гриме, о Хольце, о Марте Келлер. О том, как Эйрик смотрел ей в глаза. Об Ансельме и медном зеркальце. О мальчике у реки. О том, что Эйрик сказал мальчику. Он рассказывал и чувствовал себя предателем, и от этого говорил сбивчиво, путался, возвращался назад. Магистр слушал, не перебивая, глядя на него поверх кружки со своим отваром. Иногда кивал.

— Я не жалуюсь на него, отец, — сказал Кассиан наконец. — Вы не думайте. Он мой брат. Я бы за него в огонь. Я просто... — Он замолчал. — Я боюсь за него. Он стал другим. Он смотрит, как будто слушает что-то. Как будто внутри у него кто-то говорит, а он прислушивается. Он ночью сидит и не спит. В Гриме не спал, в Хольце не спал. Я видел. Он сидел у кострища и разговаривал. Сам с собой.

Магистр поставил кружку на стол.

— Разговаривал, — повторил он.

— Да. Тихо. Я не слышал слов. Только голос. Будто спорил с кем-то.

Морвен молчал. Он смотрел в окно, на далёкие крыши Вельде, и Кассиан видел его профиль на фоне серого неба: длинный нос, глубокие морщины, седые брови. Профиль был спокойным. Но пальцы правой руки магистра, лежащие на подлокотнике кресла, медленно постукивали по дереву. Раз. Два. Три. Кассиан знал этот жест. Так магистр постукивал, когда о чём-то думал очень напряжённо.

— Когда это началось? — спросил Морвен, не поворачиваясь от окна.

— В Гриме, отец. Там, где вы его нашли. Он долго смотрел на старое пепелище. Брат Ансельм велел ему не смотреть.

— Ансельм правильно велел, — сказал магистр тихо. — Там плохое место.

— А травница, отец? — спросил Кассиан. — Вы велели привезти её живой. Зачем? Брат Сибальд говорит, у неё нет Тлена.

Морвен наконец повернулся к нему. И улыбнулся. Это была та самая улыбка, которую Кассиан помнил с детства: тёплая, немного грустная, с лучиками морщин у глаз.

— Ты хороший брат, Кассиан, — сказал он. — Ты беспокоишься о нём больше, чем о себе. Это редкость. Пламя любит таких. — Он помолчал. — Не беспокойся. Эйрик через многое прошёл. Он устал. Тридцать лет назад я вынес его из огня, и с тех пор он ни дня не жил для себя. Только для Ордена. Иногда, когда человек так долго держит что-то тяжёлое, у него начинают дрожать руки. Это не грех. Это усталость. Я поговорю с ним, когда он вернётся. Мы всё исправим.

— А травница?

— Травница, — сказал Морвен, и улыбка его чуть изменилась, стала задумчивой, — это совсем другое. Ты знаешь, кто она?

— Нет, отец.

— Она слышит мёртвых. Как её мать. Как её бабка. Это редкий дар. Опасный. — Магистр взял свою кружку и отпил. — Я хочу понять его. Вот и всё. А потом мы решим, что с ней делать. Иди спать, Кассиан. Ты устал не меньше его.

Кассиан встал, поклонился. У двери он обернулся.

— Отец. Вы ведь не сердитесь на него?

— Сердиться? — Морвен покачал головой, и в его голосе было столько нежности, что у Кассиана защемило в груди. — На Эйрика? Никогда. Он мой обет. Помнишь, ты сам так говорил, когда был маленький? Он мой обет. Я дал его Пламени над пепелищем Грима. А обеты не нарушают.

Кассиан спускался по винтовой лестнице и думал о том, что всё будет хорошо. Отец поговорит с Эйриком. Отец всегда знал, что сказать. Трещина закроется, камень снова станет камнем.

Он почти дошёл до двора, когда вдруг остановился на ступеньке и нахмурился.

Он ведь никогда не говорил магистру, что Эйрик для него как обет. Он сказал это Эйрику, неделю назад, на привале у брошенного хутора. Только Эйрику. Больше никому.

Кассиан постоял на ступеньке, в полутьме, держась за холодную стену. Потом тряхнул головой. Наверное, Эйрик рассказал. Или он сам когда-то, в детстве, говорил, а теперь забыл. Отец всё помнил. Отец всё понимал.

Он спустился во двор и пошёл к кельям. Ночь была холодной, с реки тянуло сыростью. Над главным залом поднимался белый столб Неугасимого огня, ровный и прямой.

Камешек в сапоге никуда не делся.

* * *

Эйрик вернулся через три дня, к вечеру, и Кассиан увидел его с колокольни.

Он стоял на верхней площадке, где они с Эйриком когда-то пили краденый сидр, и смотрел на дорогу вдоль Вельды. Он ждал. Он поднимался сюда каждый вечер все три дня и смотрел. И когда на дороге показались двое всадников, большой на вороном и маленькая на буланой, у него ёкнуло сердце.

Двое. Не трое.

Он сбежал вниз, перепрыгивая через ступени, и выскочил во двор как раз, когда серые рясы из Тихих келий уводили травницу. Он видел, как Эйрик стоял посреди двора и смотрел им вслед. Видел его лицо. Кассиан знал это лицо тридцать лет и никогда не видел его таким. На нём не было ничего. Ни усталости, ни горя, ни злости. Оно было пустым, как дом, из которого вынесли всю мебель. Только губы шевелились. Он что-то говорил. Сам себе.

А потом Эйрик стиснул зубы, так, что желваки заходили под кожей, и пошёл к конюшне. Кассиан пошёл за ним.

В конюшне было темно и тепло, пахло сеном и лошадьми. Эйрик расседлывал Угля. Он делал это медленно, тщательно, как делал всё. Снял седло, повесил на крюк. Снял потник. Взял пучок соломы и стал растирать коню спину. Кассиан стоял в дверях и смотрел.

— Где Тиль? — спросил он наконец.

Эйрик не обернулся.

— В Мшанике.

Кассиан закрыл глаза. Он ждал этого ответа с той минуты, как увидел на дороге двоих. Но всё равно.

— Как?

— Гость.

Кассиан открыл глаза. Эйрик растирал Угля соломой, медленно, ровно. На поясе у него, привязанный к мешку, висел свёрток из мешковины. Длинный, узкий. Кассиан понял, что это.

— Ты привёз его меч, — сказал Кассиан.

— Привёз.

— Его надо сдать брату-оружейнику. По уставу.

— Знаю.

Эйрик положил солому, повернулся. Кассиан увидел зашитую рану над левой бровью, пять аккуратных стежков. Чужую рубаху, маленькую ему в плечах. И глаза. Глаза были преж-

ними, серыми, спокойными. Но что-то в них было не так. Кассиан не мог понять что. Будто кто-то смотрел из них ещё, из глубины, из-за зрачка.

«Серость в глубине», — подумал вдруг Кассиан, и ему стало страшно от этой мысли.

— Магистр хочет тебя видеть, — сказал он вслух. — Сегодня. Он ждёт.

— Знаю, — сказал Эйрик. И, помолчав: — Кассиан. Он плакал перед смертью. Тиль. Спрашивал, благословение это или нет. Жар в клейме.

Кассиан молчал.

— Я ему соврал в Гриме, — сказал Эйрик. — Сказал, что благословение. А в Мшанике не смог. Сказал, что не знаю.

— Это благословение, Эйрик, — сказал Кассиан. Голос у него дрогнул. — Это правда благословение. Почему ты не сказал ему?

Эйрик посмотрел на него долго, тем самым взглядом из глубины. Потом отвернулся к Углю.

— Потому что не знаю, — сказал он.

Кассиан стоял в дверях конюшни, и ему казалось, что между ним и Эйриком, между двумя шагами, которые их разделяли, лежит пропасть. И что Эйрик стоит на той стороне. И что земля у него под ногами осыпается.

* * *

Лестница в магистерскую башню была винтовой, крутой, в сто сорок две ступени. Эйрик знал их число с семи лет. В семь лет он пересчитывал их каждый вечер, когда Морвен звал его наверх учить буквы, и каждый раз выходило по-разному, потому что на середине он сбивался от страха и начинал снова. Теперь он не считал. Ступени сами ложились под сапоги, стёртые посередине до ямок, и он поднимался в темноте, держась ладонью за холодную стену, и с каждым витком запах мяты становился сильнее.

Дверь была приоткрыта. Из щели падала на ступени полоса жёлтого света.

— Входи, сынок, — сказал Морвен изнутри, прежде чем Эйрик успел постучать. — Я слышу тебя с сотой ступени. Ты всегда наступаешь на сотую так, будто она тебе что-то должна.

Эйрик вошёл.

В комнате ничего не изменилось. Ничего не менялось здесь тридцать лет. Та же узкая кровать под серым одеялом. Тот же стол со свитками, тот же подоконник с горшками, в которых зеленела мята, и мелисса, и чабрец. Те же угли в очаге. Та же свеча на столе, толстая, оплывшая, и та же лужица воска вокруг неё, которую Морвен никогда не счищал. Эйрик в детстве думал, что воск на этом столе копится с сотворения мира. Пахло так же, как пахло в ту ночь, когда его впервые принесли сюда, завёрнутого в чужой плащ, с руками, обмотанными тряпкой. Он не помнил ту ночь. Но запах помнил.

Морвен поднялся из кресла у окна. Он был ниже Эйрика на полголовы и вдвое уже в плечах, но, когда он подошёл, Эйрику, как всегда, показалось, что это он, Эйрик, стоит внизу и смотрит вверх.

Магистр не сказал ничего. Он поднял руку, тяжёлую, большую, с белыми бугристыми рубцами на ладони, и положил её Эйрику на затылок. Как в детстве. Пальцы были тёплыми и сухими. Он чуть притянул его голову к себе, и Эйрик, огромный, тридцатилетний, в чужой рубахе, пахнущей болотом и чужим потом, наклонился и упёрся лбом в плечо старика.

Так они стояли, может, десять ударов сердца. Может, двадцать. Эйрик не считал.

Клеймо на груди было тёплым. Ровно, мягко, по-домашнему тёплым, как печь, у которой спит кошка.

— Тиль, — сказал Морвен тихо, в его волосы.

— Да.

— Расскажи.

* * *

Эйрик рассказал.

Он сидел на том же стуле, на котором сидел мальчишкой, и стул был ему мал, и колени упирались в край стола. Морвен поставил перед ним кружку с отваром. Эйрик не притронулся к ней. Он говорил, глядя на лужицу воска у свечи, и голос его был ровным, как всегда, как будто он читал доклад о числе сожжённых в деревне за месяц. Гать. Эмрих. Старый Мшаник и требуха на островке. Разбойники в ольшанике, девять человек. Как Тиль вытащил меч, а меч застрял в ножнах, потому что ножны разбухли от сырости. Как Самоед вылез из воды. Как он кусал. Сколько раз.

Про то, что случилось с девятью разбойниками, Эйрик сказал коротко: «Я их убил». Морвен не стал переспрашивать как. Эйрик заметил это и запомнил.

Потом он рассказал про ночь у костра в избе Ильвы. Про то, как Тиль лежал на лавке, и клеймо у него на груди светилось сквозь кожу, будто под ней тлел уголь, и как Тиль трясся и спрашивал: благословение это или нет. Жар в клейме. Благословение или нет.

— Я сказал, что не знаю, — сказал Эйрик.

Морвен молчал. Он сидел напротив, в своём кресле, держа кружку в обеих ладонях, и смотрел на Эйрика поверх неё. Глаза у него были тёплыми и влажными.

— Он плакал, — сказал Эйрик. — Потом перестал. Потом спросил, привезу ли я матери его булки. Наоборот. Перепутал. Он думал, это я ему обещал привезти. Потом он умер.

— А ты?

— Я его сжёг.

Морвен поставил кружку на стол. Долго смотрел на угли в очаге.

— Тридцать четыре года назад, — сказал он, — я держал на руках брата Вигберта. Ему было девятнадцать. Его укусила тварь у прорехи под Штеттеном, такая, каких мы тогда ещё не знали и не умели называть. Он спросил меня то же самое. Благословение или нет. И знаешь, что я ему ответил?

Эйрик покачал головой.

— Я сказал ему: да. Это благословение. Пламя забирает тебя к себе. — Морвен улыбнулся, медленно и грустно. — Он умер спокойным. Он улыбался. Я был молод, и я верил в то, что говорил, а может быть, и не верил, теперь уже не помню. Но он умер спокойным. А твой Тиль умер, плача. Скажи мне, Эйрик. Чей ответ был добрее?

Эйрик долго молчал.

— Ваш, — сказал он наконец.

— А чей был честнее?

Эйрик поднял глаза. Морвен смотрел на него внимательно, и в его взгляде не было упрёка. Только интерес, мягкий, почти нежный, такой, с каким учитель смотрит, как ученик сам добирается до ответа.

— Не знаю, — сказал Эйрик.

— Знаешь, — сказал Морвен. — Но боишься сказать. И правильно делаешь. Потому что как только ты это скажешь, тебе придётся выбирать, что важнее: доброта или честность. А тот, кто однажды выбрал, уже никогда не сможет делать вид, что выбора не было.

* * *

Угли в очаге осели с тихим шорохом. Морвен встал, взял полено из корзины, положил на угли. Огонь лизнул сухую кору, затрещал, взялся.

Эйрик смотрел, как он горит. И вдруг сказал то, чего не собирался говорить. Слова вышли сами, как выходит кровь из раны, когда вытаскиваешь стрелу:

— А если мы жжём невинных?

Морвен не обернулся. Он стоял у очага, спиной к Эйрику, опираясь рукой о каменную полку.

— Марта Келлер, — сказал Эйрик. — Ткачиха из Хольца. У неё были синие глаза. Синие, не серые. Брат Ансельм посмотрел в зеркальце и сказал, что Тлен в глубине. Я смотрел ей в глаза, пока она горела. Там не было глубины. Там была она. Она назвала меня трусом. — Он помолчал. — И Матис в Гриме. И мальчик в Хольце, её сын, Йонас. Он спросил меня, была ли его мать одержимой. Я сказал, что не знаю. Отец, я тридцать лет держу факел. Я не знаю, скольких из них я сжёг правильно. Я никогда не спрашивал. А теперь не могу перестать.

Морвен медленно повернулся. Огонь за его спиной поднимался всё выше, и лицо магистра оказалось в тени, а седые волосы светились по краям, как нимб на старой иконе.

— Сядь, — сказал он мягко, хотя Эйрик и так сидел. — Сядь и послушай меня. Я расскажу тебе то, что рассказываю только магистрам, когда они принимают посох. Ты не магистр и никогда им не будешь, тебе это не нужно. Но ты спросил. А я никогда не лгал тебе, Эйрик. Ни разу за тридцать лет. Помни это.

Он вернулся в кресло. Сел, сцепил тяжёлые пальцы на колене.

— Ты спрашиваешь, жжём ли мы невинных. Да. Жжём.

Эйрик застыл.

— Не всех, — продолжал Морвен спокойно, как говорят о погоде. — Даже не многих. Но жжём. Ансельм ошибается. Лотар ошибается. Я ошибался. Медное зеркальце не видит душу, Эйрик, это просто медь. Дознаватель видит то, что умеет видеть, и иногда он видит Тлен там, где его нет. Иногда он видит его там, где ему хочется. Иногда староста приносит донос на соседа, потому что сосед передвинул межу. Мы все это знаем. Каждый старый брат это знает. И каждый молчит.

— Почему?

— Потому что представь, что мы перестали. — Морвен наклонился вперёд. — Представь, что завтра я разошлю по всем обителям указ: жечь только тех, у кого Тлен виден ясно, как солнце в полдень. Только серые глаза, только когда одержимый уже встал ночью у кровати с ножом. Никаких доносов. Никаких зеркалец. Никаких сомнений в пользу костра. Что будет?

Эйрик молчал.

— Будет то, что было сто лет назад, — сказал Морвен. — Ты читал хроники. Я заставлял тебя их читать. Пепельная чума. Тлен прячется. Он умеет прятаться, Эйрик, он хитрее любого из нас. Одержимый ходит среди людей неделю, месяц, год, и никто не видит, а потом однажды ночью встаёт, и утром в деревне никого нет. Ни одного человека. А потом приходит Швея, ты знаешь, ты видел её рисунки в катакомбах, и шьёт из тех, кто был деревней, то, что потом ползёт в соседнюю. Сто лет назад так выгорело полвальдмарка. Целые графства. Ты знаешь, сколько людей жило в Вальдмарке до чумы? Вдвое больше, чем сейчас.

Он помолчал.

— А теперь — нет. Теперь каждый крестьянин в каждой деревне знает: если твой сосед странно смотрит, если твоя жена не спит ночами, если твой сын перестал молиться, Орден придёт. И Орден не будет разбираться долго. Поэтому крестьянин смотрит на соседа. Смотрит на жену. Смотрит на сына. Смотрит на себя. Каждую минуту. Он боится. И поэтому, — Морвен поднял палец, тяжёлый, обожжённый, — поэтому он замечает. Раньше, чем Тлен успеет встать. Страх, Эйрик, — это глаза. Тысяча тысяч глаз во всех деревнях Вальдмарка, и все они смотрят. Ансельм называет это оградой. Он прав, только ограду держат не камни. Её держат костры.

— Значит, Марта Келлер...

— Марта Келлер, может быть, была невинна. — Морвен сказал это тихо и просто. — Я не знаю. И ты не знаешь. И Ансельм не знает, хоть и не признается. Но Марту Келлер видела вся Хольцкая округа. Каждая ткачиха в Хольце в ту ночь легла спать и подумала: «А я? А мой муж? А мой деверь?» И если где-то в Хольце в ту ночь спал настоящий одержимый, то теперь на него смотрят в десять раз внимательнее. Понимаешь? Я сжигаю десятерых, чтобы тысяча жила в страхе. И потому жила.

Огонь в очаге гудел.

Эйрик смотрел на свои руки. На старые ожоги на ладонях. Белые, бугристые, такие же, как у Морвена.

— А Йонас? — спросил он. — Её сын. Что ему жить в страхе? Ему восемь.

— Йонас вырастет, — сказал Морвен. — Он будет ненавидеть нас. Может быть, всю жизнь. И он будет жить. Его дети будут жить. Ненависть, Эйрик, не убивает. Убивает Тлен. — Он помолчал. — Ты думаешь, я этого не чувствую? Ты думаешь, мне легко? Посмотри на мои руки. Я держал прут дольше, чем ты, на три молитвы дольше. Я сжёг своими руками больше, чем ты. Я помню их всех. Каждую ночь я ложусь в эту кровать и вижу их лица. Это и есть обет, сынок. Не то, что мы произносим на испытании. Обет — это когда ты берёшь на себя то, чего никто другой не возьмёт, и несёшь, и не роняешь, и никому не жалуешься, потому что если ты уронишь, его поднимет кто-то, кто будет нести хуже.

* * *

Эйрик долго молчал.

Он думал о Тиле, о его красных ушах на ветру. О булках с тмином. О пекарне на три печи с облупленным золотым калачом. О Марте Келлер, которая смотрела ему в глаза. О Матисе, который держал в ладони камень. О том, что говорил Шёпот у кострища в Гриме: огонь кормит. Огонь кормит не Пламя. Огонь кормит меня.

Он должен был это сказать. Сейчас. Здесь. Отец спросил, и отец никогда не лгал. Отец поймёт. Отец всегда всё понимал раньше, чем ты договоришь.

«Скажи ему, — подумал Эйрик. — Скажи ему, что внутри у тебя кто-то говорит. Что он смеётся у каждого костра. Что он убил за тебя девять человек и ты не помнишь как. Скажи. Он вынес тебя из огня. Он вынесет и из этого».

Он открыл рот.

— Отец...

— Да?

Клеймо на груди не потеплело и не замёрзло. Оно просто было. Тихое, внимательное, как зверь, который замер в траве. Эйрик почувствовал это так ясно, будто кто-то положил ему руку на сердце и ждал, что оно сделает.

— Ничего, — сказал Эйрик. — Я устал.

Морвен посмотрел на него долгим взглядом. Потом кивнул.

— Ты устал, — согласился он. — Ты очень давно устал, сынок. С той самой ночи. Ты просто не знал.

Он помолчал, потом спросил, будто между прочим, поправляя на столе свиток:

— Травница. Как она в пути?

— Тихо.

— Она говорила с тобой?

— Немного.

— О чём?

Эйрик помедлил.

— О вас, — сказал он. — Спросила, какой вы.

— И какой я? — Морвен улыбнулся.

— Я сказал, что добрый.

— Добрый, — повторил Морвен, будто пробуя слово на вкус. Улыбка не сходила с его лица. — А она? Что она сказала? Она ведь что-то сказала, правда? Такие всегда что-нибудь говорят.

— Сказала, что я вас люблю.

— Это правда, — сказал Морвен мягко. — А ещё?

Эйрик посмотрел на него. Пальцы правой руки магистра лежали на подлокотнике кресла и медленно постукивали по дереву. Раз. Два. Три.

— А о мёртвых? — спросил Морвен тем же лёгким тоном. — Она говорила тебе о мёртвых? Что они ей рассказывают? О тебе, например?

Эйрик вспомнил избу на болоте. Голос Ильвы в темноте: «Сколько ты сжёг? Они стоят у тебя за спиной». И потом, позже, над телом Тиля: «Тот, кто в тебе, тоже меня слышит».

— Нет, — сказал Эйрик.

Он никогда в жизни не лгал Морвену. Ни разу за тридцать лет. Это была первая ложь, и она вышла легко, гладко, будто давно лежала у него во рту и ждала.

Пальцы магистра на подлокотнике замерли.

— Хорошо, — сказал Морвен. — Это хорошо. Потому что мёртвые лгут, Эйрик. Запомни это. Они лгут всегда. Это первое, чему учат дознавателей в Тихих кельях. Мёртвые говорят то, что хочет услышать тот, кто их слушает, или то, что хочет сказать тот, кто за ними стоит. А за ними всегда кто-то стоит. — Он помолчал. — Её мать слушала мёртвых. И бабка слушала. И знаешь, что они слышали? То, что Орден — палачи. Что Пламя — ложь. Что за огнём стоит что-то, что питается огнём. Сладкие слова. Они разносили их по деревням тридцать лет. И из-за этих слов в Мшанике однажды убили двух братьев, которые пришли с проверкой. Их зарезали серпами, сонных, а тела утопили в болоте. Ты этого не знал?

— Нет.

— Не знал. — Морвен вздохнул. — Видишь, ты многого не знаешь. И не надо тебе знать. Тебе надо держать факел. Это твоё дело. Знание — моё.

Он встал. Подошёл к окну. За окном была ночь, чёрная, без звёзд, и только далеко внизу, за рекой, мерцали редкие огоньки Вельде.

— Сомнение страшнее Тлена, сынок, — сказал Морвен, глядя в окно. — Тлен забирает одного. Сомнение — всех. Стоит одному брату усомниться вслух, и завтра усомнятся десять. А когда усомнятся десять, крестьянин перестанет бояться. А когда крестьянин перестанет бояться, он перестанет смотреть. И тогда однажды ночью кто-то встанет у его кровати. — Он обернулся. — Ты спрашивал, что такое свобода. Помнишь? Тебе было двенадцать, ты прочёл в хрониках про вольные города, и спросил меня, почему у нас нет свободы. Помнишь, что я ответил?

— Что свобода — это право выбрать, кому служить.

— Да. И ты выбрал. Ты выбрал Пламя, в восемь лет, когда держал прут до конца молитвы и не отпустил. Это был твой выбор, никто тебя не заставлял. Я дал тебе выбор, Эйрик, тогда, у пепелища, и ты выбрал. — Морвен подошёл к нему, снова положил руку на затылок. — А теперь ты спрашиваешь, правильно ли выбрал. Это нормально. Все спрашивают однажды. Я спрашивал. Но есть только один способ узнать, сынок. Нести дальше. Огонь и тьма, знаешь ли, это одно и то же. Просто смотреть на них надо с разных сторон костра. Важно только, с какой стороны стоишь ты.

Эйрик поднял голову.

— Что?

Морвен улыбнулся.

— Старая поговорка. Её любил Эрменрих. Не бери в голову.

Он отошёл к столу, взял с него свёрнутый лист пергамента с тяжёлой восковой печатью, круг и пламя, и протянул Эйрику.

— Завтра в полдень, — сказал он, — на площади в Вельде будет суд над травницей Ильвой из Мшаника. Открытый суд, при всём городе. Дознаватели осмотрели её сегодня. Брат Ансельм приехал утром, он и смотрел. Тлен в глубине.

Эйрик держал пергамент. Пальцы не слушались.

— Ансельм, — сказал он. — Медным зеркальцем.

— Медным зеркальцем, — согласился Морвен. — Как положено.

— Вы же сказали, что оно просто медь.

— Я сказал, что дознаватель видит то, что умеет видеть. Ансельм умеет видеть лучше всех. — Морвен смотрел на него спокойно. — Она сказала мёртвым, что Пламя — ложь. Её мать говорила то же. Это болезнь, Эйрик, такая же, как Тлен, только тише. Она передаётся со словами. Её надо выжечь, пока она не пошла по деревням. Вельде увидит. Вся округа увидит. А потом будут говорить, и говорить будут правильно.

— Зачем вы велели привезти её живой? — спросил Эйрик. Голос его был хриплым. — Если всё равно... Её могли сжечь в Мшанике.

— В Мшанике её бы никто не увидел, кроме болотных лягушек и сорока крестьян, которые и так боятся. — Морвен покачал головой. — А в Вельде её увидят десять тысяч. Это разное, сынок. Огонь в болоте греет болото. Огонь на площади греет весь Вальдмарк.

Он помолчал.

— Огонь держишь ты.

Эйрик не двинулся.

— Это честь, — сказал Морвен тихо. — Ты привёз её. Ты потерял брата, чтобы её привезти. Значит, ты и закончишь. Так правильно. Так ты закроешь эту дорогу. И твои вопросы закроешь. Ты увидишь, как это просто. Ты делал это тысячу раз.

Он снова положил руку Эйрику на затылок. Тёплую. Тяжёлую.

— Я люблю тебя, сынок, — сказал он. — Ты мой обет. Иди спать.

* * *

Эйрик не спал.

Он лежал на узкой койке в своей келье, в самом конце длинного коридора, где пахло сыростью и старым камнем, и смотрел в темноту. Пергамент с печатью лежал на табурете у изголовья. Он не развернул его. Он и так знал, что там.

За стеной кашлял во сне брат Сибальд. Где-то далеко, в главном зале, послушник бросил в чашу полено, и Эйрику показалось, что он слышит, как вздохнул Неугасимый огонь, сыто и низко.

Клеймо на груди теплело.

Медленно, неторопливо, как теплеет камень у печи, когда её только-только растопили. Эйрик лежал и ждал. Он знал, что голос придёт. Голос всегда приходил в темноте.

— Ты солгал ему, — сказал Шёпот.

Голос был не таким, как прежде. Не насмешливым. Почти ласковым. Почти гордым.

— Первый раз за тридцать лет. Ради неё. Ради девчонки с болота, которая видела тебя пять дней. — Тихий смех, как шорох углей. — Ты растёшь, щенок.

Эйрик молчал.

— Хочешь знать, почему он спрашивал? — Голос приблизился, лёг прямо в ухо, тёплый и влажный. — Не о ней. О тебе. Он хотел знать, что она тебе рассказала. Что она услышала. О тебе. Обо мне. Он знает, щенок. Он знает, что я здесь.

Эйрик сжал кулаки. Ожоги на ладонях отозвались тупой болью.

— Ты лжёшь, — прошептал он в темноту. — Мёртвые лгут. Ты сам мёртвый. Ты лжёшь.

— Я не мёртвый, — сказал Шёпот. — Я никогда не был живым, чтобы умереть. И я не лгу тебе, щенок. Мне это не нужно. Правда делает тебе больнее. Он знает. Он знает с той ночи на пепелище, когда вынес тебя. Ты думал, он вынес тебя из огня? Он вынес тебя мне. А потом тридцать лет кормил. Через твои руки. Через твой факел. Каждый костёр, который ты зажигал, каждый, слышишь? Всё мне.

Клеймо горело. Не обжигало, нет. Горело тепло, сыто, как печь, в которую подбросили дров.

— Но знаешь, что самое смешное? — Голос стал совсем тихим, почти нежным. — Он кормил меня не только через тебя. Он кормил меня дольше всех. Дольше тебя. Дольше Ансельма. Сорок лет, щенок. Сорок лет, костёр за костром, деревня за деревней. Старик знает мой вкус лучше, чем свой. — Тихий смех. — Завтра на площади будет хорошо. Десять тысяч глаз. Огонь, который греет весь Вальдмарк. Он прав, твой отец. Он всегда прав. Только греет этот огонь не Вальдмарк.

Эйрик лежал неподвижно. Он смотрел в темноту, и темнота смотрела на него.

— Держи факел, щенок, — прошептал Шёпот. — Ты ведь умеешь. Кто-то должен держать.

И замолчал.

А Эйрик лежал до рассвета, не закрывая глаз, и слушал, как где-то далеко, в главном зале, послушники каждые четверть часа кормят Неугасимый огонь. И впервые в жизни ему показалось, что он слышит в его гудении то, что Ильва слышала с дороги.

Вой. Тысячи голосов. Все сразу.

Как ветер в трубе.

Глава 5. Костёр в Вельде

Сколько раз человек может сделать одно и то же, прежде чем перестанет это замечать? Сто раз? Тысячу? Рука привыкает к весу, глаз к огню, ухо к крику. Привычка милосерднее любой молитвы: она не спрашивает, она просто делает. Но однажды привычная вещь вдруг становится тяжелее, чем была. Ничего не изменилось: тот же факел, та же площадь, тот же хворост. Изменился только тот, кто держит. И тогда оказывается, что вся жизнь стояла на одном движении руки, и это движение больше не получается сделать.

Утро пришло серое и без ветра.

Эйрик встретил его на ногах. Он встал задолго до колокола, когда за узким окном кельи было ещё черно, и долго сидел на краю койки, упираясь локтями в колени и глядя на свои руки. Потом умылся из кадки ледяной водой. Потом оделся. Свою рубаху, настоящую, по плечам, он нашёл сложенной на табурете: кто-то принёс её ночью, выстиранную, с заштопанной дырой на локте. Он знал, кто. Кассиан всегда штопал криво, большими стежками, и всегда оставлял узелок наружу.

Пергамент с печатью лежал там же, нераспечатанный.

Эйрик взял его, подержал в руке и положил за пазуху. Туда, где клеймо.

Клеймо молчало. Оно было тёплым, ровно настолько, насколько бывает тёплой кожа живого человека. Ни голоса, ни смеха. Эйрик знал эту тишину. Так молчит собака у двери, когда знает, что хозяин сейчас пойдёт гулять.

Колокол ударил к заутрене. Один раз, низко, так, что задрожала вода в кадке. Потом ещё. Потом ещё.

Эйрик вышел в коридор.

* * *

Кассиан ждал его у оружейной.

Он стоял, прислонившись к стене, в полном облачении: серый плащ с вышитым кругом и пламенем, кольчуга под стёганым поддоспешником, меч на поясе. Рыжеватая щетина была сбрита, лицо казалось от этого моложе и бледнее. Под глазами лежали тени. Он тоже не спал.

— Магистр велел помочь тебе с доспехом, — сказал он.

— Я сам.

— Знаю, что сам. Магистр велел.

Они вошли в оружейную. Брат-оружейник Хродгар, кривоногий, с бородой, заплетённой в косу, молча снял с крюка кольчугу Эйрика, тяжёлую, длинную, до колен, с рукавами по локоть, и подал Кассиану. Хродгар не смотрел на Эйрика. Он смотрел на свёрток из мешковины, который Эйрик положил на верстак.

— Тиля, — сказал оружейник.

— Тиля.

Хродгар развернул мешковину. Короткий меч лежал на ней, тусклый, в бурых пятнах. Хродгар провёл пальцем по зазубринам.

— Хорошо дрался, — сказал он.

— Плохо, — сказал Эйрик. — Меч застрял в ножнах.

Хродгар кивнул, будто так и думал. Завернул меч обратно и положил на полку, где лежали другие такие же свёртки. Их было много. Эйрик никогда раньше не замечал, как их много.

Кассиан помог ему надеть кольчугу. Они делали это сотни раз: Эйрик поднимал руки, Кассиан накидывал на него железную рубаху, тянул вниз, расправлял на плечах, затягивал пояс. Пальцы Кассиана двигались быстро и привычно. Только на пряжке пояса задержались.

— Эйрик, — сказал Кассиан тихо, не поднимая глаз. — Я хочу тебе сказать.

— Говори.

— Я был у отца. Вчера. До тебя. Я ему рассказал. Про Грим, про Хольц. Про то, что ты говорил мальчишке. Что ты сидишь ночами и разговариваешь сам с собой. — Он затянул пряжку. — Я всё рассказал.

Эйрик молчал.

— Я думал, так будет лучше, — сказал Кассиан. Голос у него стал хриплым. — Думал, он поможет. Он всегда помогал. А утром брат Ортвин сказал, что огонь держишь ты. На площади. Травницу. — Он наконец поднял глаза. — Это из-за меня? Из-за того, что я рассказал?

Эйрик смотрел на него. На светлые ресницы, на рыжие брови, на складку между ними, которая появилась только в этом году. Он помнил Кассиана с тех пор, как помнил себя: маленького, рыжего, найдёныша из корзины из-под репы, который ходил за ним по всей обители, так же хмурил брови и так же смотрел снизу вверх, ожидая, что сейчас его ударят.

— Нет, — сказал Эйрик. — Не из-за тебя.

— Правда?

— Правда.

Кассиан выдохнул. Плечи у него опустились.

— Это благословение, Эйрик, — сказал он. — Отец даёт тебе честь. Чтобы ты... чтобы всё стало как раньше. Ты зажжёшь, и всё закроется. Я знаю. Я буду стоять рядом. Я буду в первом ряду, у самого помоста. Если тебе станет... если что-то. Я буду рядом.

Он сказал это так, как говорят ребёнку перед тем, как ему вырвут зуб. Эйрик положил руку ему на плечо. Сжал.

— Ты всегда рядом, — сказал он.

Кассиан улыбнулся, криво и коротко, как вчера на развилке.

Клеймо под кольчугой шевельнулось. Не голосом. Просто тепло прошло по груди волной, как проходит по спине кошки, когда её гладят.

«Береги его, — подумал Эйрик чужими словами, которые сами пришли в голову. — Береги, чтобы потом было больнее».

Он убрал руку.

* * *

Из обители в Вельде выехали за два часа до полудня.

Впереди ехал отец Морвен, на белом мерине, старом и спокойном, в простом сером облачении без всяких знаков, кроме посоха с бронзовым кругом на навершии. Он ехал без шапки, и седые волосы шевелились на холодном воздухе. За ним брат Ансельм на гнедом, сгорбленный, морщившийся от каждого шага коня: у него болела спина. Потом шестеро дознавателей в серых рясах, пешком. Потом повозка.

На повозке, на соломе, сидела Ильва.

Руки у неё были связаны за спиной. Ноги босые. Её переодели в длинную холщовую рубаху без пояса, белую, какую надевают на тех, кого ведут к огню, и рубаха была ей велика, и ворот сползал с плеча. Пепельную косу распустили, и волосы лежали по спине, по плечам, до самого пояса, серые, как зола. Шрам на левой щеке на холоде побелел и стал виднее.

Она сидела прямо, и смотрела вперёд, поверх головы возницы, на дорогу.

За повозкой ехали клеймёные. Двенадцать человек, по двое. Эйрик и Кассиан в первой паре. За ними Хальм и Ренн, братья из одной деревни, похожие друг на друга, как два полена из одной поленницы: оба широкоплечие, рыжебородые, с одинаковыми плоскими носами. Потом Удо, у которого на левом предплечье была выколота синяя рыба, память о том, что до Ордена он был рыбаком. Потом брат Сибальд и остальные.

Эйрик ехал за повозкой и смотрел на спину Ильвы. На её волосы. На то, как вздрагивают от холода её плечи под тонкой холстиной.

Она ни разу не обернулась.

Дорога шла вдоль Вельды, вниз, к мосту. Город лежал на том берегу, в излучине, за серой стеной, и над стеной торчали шпили церквей и красные черепичные крыши. Мост был каменный, старый, на пяти арках, и вода под ним шла тяжело, мутно, с сизыми воронками у опор. На середине моста стояла часовня Святого Пламени, маленькая, с одной свечой в окне.

Когда повозка въехала на мост, Ильва вдруг заговорила. Тихо, не поворачивая головы.

— Река тоже полная, — сказала она.

Возница вздрогнул и оглянулся на неё. Дознаватели не услышали. Услышал Эйрик, потому что ехал ближе всех.

— Полная кем? — спросил он так же тихо.

— Теми, кого не довезли до костра. Кто сам прыгнул. Отсюда, с моста. — Она помолчала. — Их много. Они не воют, как в вашем доме. Они просто лежат на дне и смотрят вверх. Ждут, когда река замёрзнет, чтобы стало темно.

Кассиан рядом с Эйриком напрягся. Он тоже услышал. Он посмотрел на Эйрика, потом на спину Ильвы, и губы его беззвучно шевельнулись: молитва.

Эйрик ничего не сказал.

* * *

Площадь Вельде была полна с утра.

Эйрик видел много площадей. Он видел маленькие деревенские площадки у колодца, где стояли сорок крестьян в овчинах, и большие площади городов, где собиралось по тысяче человек. Но такой он не видел никогда.

Люди стояли везде. На самой площади, плотно, плечом к плечу, так, что яблоку негде было упасть. На ступенях собора Святого Пламени, высокого, серого, с двумя колокольнями. На крышах лавок вокруг площади, свесив ноги, мальчишки и подмастерья. В окнах, по трое, по четверо в каждом. На телегах, на бочках, на перевёрнутых корытах. Отцы держали детей на плечах. Женщины держали младенцев у груди. Старики стояли у стен, опираясь на клюки. Кто-то продавал горячие пироги с лотка, и над толпой стоял запах печёного теста, дыма и немытых тел.

Десять тысяч, сказал магистр. Эйрик не умел считать такие числа. Он видел только лица. Сотни, тысячи лиц, повёрнутых к нему, и все одинаковые, и все разные, и на всех одно и то же выражение: жадное, испуганное, ждущее.

Так смотрит толпа на медведя, которого ведут на цепи. Так смотрит на пожар.

Посреди площади стоял помост.

Его построили за ночь. Эйрик видел, как плотники Ордена грузили брёвна на телеги вчера вечером, когда он шёл из конюшни. Помост был высокий, в рост человека, широкий, сколоченный из свежих сосновых досок, ещё пахнущих смолой. На помост вели ступени. Посреди помоста торчал столб, толстый, тёмный, обитый железом, с кольцом наверху и кольцом внизу. Вокруг столба лежал хворост, сухой, связанный в вязанки, в три слоя, до колена. Хворост пропитали смолой. Эйрик чувствовал её запах даже отсюда.

По краям помоста стояли бочки с солью.

Повозка въехала на площадь, и толпа расступилась перед ней, медленно, неохотно, как расступается вода перед лодкой, и тут же сомкнулась за ней. Ильва сидела на соломе неподвижно. Эйрик видел, как люди тянут к ней шеи, вытягивают руки. Кто-то плюнул. Плевок попал на колесо повозки. Кто-то бросил ком мёрзлой грязи, промахнулся, ком ударил возницу в плечо, и возница обернулся и выругался.

— Ведьма! — крикнул кто-то.

— Болотная!

— Мертвячка!

— Жги её!

Крики шли волнами, то затихая, то поднимаясь, и в них не было злости. Эйрик понял это с удивлением. Злости не было. Была радость. Тяжёлая, тёмная, праздничная радость людей, которые пришли смотреть, как горит не их дочь, не их жена, не они сами.

Повозка остановилась у помоста. Дознаватели сняли Ильву с соломы. Она не сопротивлялась. Она спустилась на мёрзлую брусчатку босыми ногами и чуть пошатнулась, потому что ноги затекли. Один из дознавателей поддержал её за локоть.

Клеймёные спешились и встали вокруг помоста кольцом, лицом к толпе. Так было положено. Толпа иногда бросалась. Иногда, наоборот, пыталась отбить. Эйрик видел и то и другое.

Сам он остался стоять у ступеней. Там, где положено стоять тому, кто держит огонь.

Кассиан встал рядом. Как обещал.

Отец Морвен спешился у собора. Его ждал там балкон, длинный, каменный, на втором этаже, где обычно стоял бургомистр, когда объявлял указы. Магистр поднялся туда по внутренней лестнице и вышел на балкон, и толпа, увидев его, затихла. Не сразу, а волной, от собора к краям площади, как стихает ветер в поле. Через минуту на площади стало так тихо, что Эйрик слышал, как где-то на крыше воркуют голуби.

Морвен стоял на балконе, один, опираясь на посох. Ветер шевелил его седые волосы. Он смотрел на площадь сверху, на десять тысяч лиц, и лицо у него было спокойным и печальным.

Потом он нашёл глазами Эйрика. И улыбнулся ему. Едва заметно. Как улыбаются сыну, который сейчас будет читать стихи перед гостями.

* * *

Брат Ансельм поднялся на помост первым.

Он поднимался медленно, держась за перила, кряхтя на каждой ступени, и толпа ждала его молча. Наверху он выпрямился, насколько позволяла спина, достал из рукава свиток и развернул. Руки у него дрожали от холода. Медное зеркальце висело у него на груди, на тонкой цепочке, и тускло блестело.

— Именем Единого Пламени, — начал он. Голос у старика был слабым, надтреснутым, но площадь молчала так, что каждое слово долетало до самых дальних окон. — Именем Ордена Пепла и магистра его, отца Морвена. Травница Ильва, дочь Агны, из деревни Мшаник, что в Ольмском округе. Осмотрена дознавателями Тихих келий. Осмотрена мною. Найден Тлен в глубине.

По толпе прошёл вздох. Многоголосый, тяжёлый, похожий на вздох огромного зверя.

— Найдено, — продолжал Ансельм, — что сия Ильва, как мать её и бабка её до неё, говорит с мёртвыми. Что мёртвые говорят ей против Пламени. Что она разносит их речи по деревням, смущая души, отвращая от веры, сея сомнение. Что сомнение есть врата, через которые входит Тлен.

Он помолчал. Посмотрел вниз, на Ильву, которая стояла у ступеней между двумя дознавателями. Потом на Эйрика. Медленно, внимательно, как смотрел тогда, в Хольце.

— Огонь очистит, — сказал он. — Пламя примет.

— Пламя примет! — отозвалась площадь. Тысячи голосов, разом, нестройно, как прибой.

Ансельм свернул свиток и спустился. Проходя мимо Эйрика, он остановился. Близко, так, что Эйрик чувствовал его дыхание, кислое, стариковское.

— Я смотрел её, сынок, — сказал Ансельм тихо, только для него. — Я смотрел её весь вчерашний вечер. Хочешь знать, что я видел?

Эйрик молчал.

— Ничего, — сказал Ансельм. — Ровным счётом ничего. Чистая, как вода в роднике. — Он помолчал. — Но магистр сказал, что Тлен в глубине. А магистр видит глубже меня. Он видит то, что ещё только будет. Понимаешь? Не то, что есть. То, что будет, если её оставить. —

Он похлопал Эйрика по руке, в кольчужной перчатке. — Зажги быстро. Она хорошая девочка. Не надо ей мучиться.

И пошёл к собору, сгорбленный, шаркая ногами.

Эйрик стоял и смотрел ему вслед. Клеймо под кольчугой грелось.

— Слышал? — сказал Шёпот. Тихо, почти лениво. — Даже он знает. Все знают, щенок. Все, кроме тебя. Ты единственный здесь, кто ещё не решил, что знает.

* * *

Ильву подняли на помост.

Двое дознавателей вели её под руки по ступеням. Она шла сама, но медленно, потому что босые ноги скользили на свежих досках, покрытых инеем. Наверху её подвели к столбу. Развязали руки, завели их за столб и снова связали, теперь цепью, железной, с толстыми кольцами, пропущенной через нижнее кольцо. Вторую цепь обмотали вокруг пояса и замкнули на замок. Ключ от замка дознаватель повесил себе на шею.

Ильва не сопротивлялась. Она стояла у столба, в белой рубахе, с распущенными волосами, по колено в хворосте, и смотрела на площадь.

Толпа ревела.

Эйрик не слышал слов. Слова слились в один гул, как сливается шум воды на перекате. Он стоял у ступеней и смотрел на Ильву снизу. На её лицо, белое, неподвижное. На шрам. На губы, которые были сжаты.

Дознаватели спустились. Помост опустел. Теперь на нём была только она, и столб, и хворост, и цепи.

Отец Морвен на балконе поднял руку.

Площадь стихла снова. На этот раз совсем, до последнего шороха. Даже голуби на крышах замолчали.

— Дети мои, — сказал магистр.

Он не кричал. Он говорил негромко, тем самым тёплым глуховатым голосом, каким говорил вчера в башне. Но его было слышно. Эйрик не знал, как это получалось. Может быть, дело было в тишине. Может быть, в камне собора за его спиной, который отражал голос, как раковина. Может быть, в чём-то ещё.

— Дети мои. Я знаю, что вы чувствуете. Вы смотрите на эту девушку, и вам страшно. И вам жаль её. Она молода. Она красива. Она лечила ваших детей от лихорадки и ваших коров от вздутия. Кто-то из вас покупал у неё травы на ярмарке в Ольме. Кто-то, может быть, обязан ей жизнью. — Он помолчал. — И вы спрашиваете себя: зачем? Почему её? Разве она кого-нибудь убила? Разве у неё серые глаза?

Толпа молчала. Эйрик видел, как люди переглядываются.

— Нет, — сказал Морвен. — Не убила. И глаза у неё не серые. Я не стану вам лгать, дети мои. Я никогда вам не лгал. Сто лет Орден стоит между вами и тьмой, и все сто лет мы говорили вам правду, даже когда она была горькой. Вот правда: Тлен не всегда виден. Тлен, который вы знаете, серые глаза, чужая речь, нож у кровати, это конец. Это когда уже поздно. Но у каждого конца есть начало. И начало Тлена — это слово. Одно слово. Сомнение. — Он поднял посох. — Эта девушка носит в себе слова мёртвых. Мёртвые говорят ей, что Пламя лжёт. Что Орден лжёт. Что огонь, который сто лет стоит между вами и чумой, — это зло. Она верит им. И она говорит это вам. Сегодня одному. Завтра десяти. А через год в Ольме будет то, что было в Гриме тридцать лет назад. Вы помните Грим? Ваши отцы помнят. Деревня, в которой не осталось ни одной живой души. Ни одной.

Эйрик стоял у ступеней, и при слове «Грим» у него сжалось в груди.

— Я жгу её не за то, что она сделала, — сказал Морвен. — Я жгу её за то, что будет, если я её не сожгу. Это тяжело, дети мои. Это тяжелее всего, что я делал в жизни. Но кто-то должен это делать. Кто-то должен держать факел. — Он перевёл взгляд вниз, на Эйрика. — Поэтому

сегодня огонь держит лучший из нас. Тот, кто сам вышел из огня Грима. Тот, кто знает, что бывает, когда огня нет. Мой сын.

Толпа взревела. Тысячи голов повернулись к Эйрику, и он почувствовал их взгляды на своём лице, как жар от печи. Кто-то крикнул его имя. Потом ещё кто-то. Он не знал, откуда они знают его имя.

Морвен опустил посох.

— Зажигай, сынок, — сказал он. Но Эйрик услышал.

* * *

Брат Сибальд поднёс факел.

Его зажгли от углей в жаровне у собора, и он горел жарко, ровно, с треском, оранжевым языком в серое небо. Смола капала с него на брусчатку и шипела. Сибальд протянул его Эйрику рукоятью вперёд, как подают меч.

Эйрик взял.

Факел был тяжёлым. Он всегда был одинаковым, сто, тысячу раз, одинаковый вес, одинаковое тепло на лице, одинаковый запах смолы. Рука знала этот вес лучше, чем вес меча. Сейчас он был тяжелее. Не намного. На пёрышко. На волос.

Эйрик поставил ногу на первую ступень помоста.

Толпа затихла снова, и в этой тишине он слышал, как скрипит под его сапогом свежая сосновая доска. Вторая ступень. Третья. Он поднимался медленно, как старик Ансельм, хотя ноги у него были сильными. Четвёртая, пятая, шестая.

Наверху он остановился.

Ильва стояла в двух шагах. Хворост лежал между ними, по колено ей, по голень ему. Цепи на её руках поблёскивали. Она смотрела на него.

Он смотрел на неё.

Её глаза были прежними. Серо-зелёными, ясными, как вода над мхом. В них не было страха. Эйрик видел страх в глазах тысяч людей у тысячи столбов, и он знал, как он выглядит: зрачок, расширенный во всю радужку, белки, налитые кровью, мокрые ресницы. У Ильвы не было ничего этого. Она смотрела на него спокойно и внимательно, как смотрела у болотного костра, когда он рассказывал ей о Тиле.

— Сколько ты сжёг? — спросила она.

Тихо. Почти шёпотом. Толпа не услышала.

Эйрик не ответил.

— Я спрашивала тебя на болоте, — сказала Ильва. — Ты не ответил. Я спрошу ещё раз. Сколько?

— Не знаю, — сказал Эйрик. Горло у него было сухим.

— Я знаю, — сказала Ильва. — Они все здесь. Они пришли за тобой с той дороги, по которой ты ехал. Они стоят у тебя за спиной, на ступенях, внизу, по всей площади. Их больше, чем живых. Они смотрят, Эйрик. Они ждут. Они не злятся на тебя. Знаешь, что они говорят?

Факел трещал у него в руке. Смола капала на хворост, и одна капля зашипела совсем рядом с её босой ногой.

— Что? — спросил он.

— Они говорят: «Ещё один».

Клеймо на груди горело. Не теплело, горело, жарко, сыто, нетерпеливо, как горит голод у пса, которому поднесли миску. Эйрик чувствовал, как этот жар течёт по жилам, по рукам, в пальцы, в рукоять факела.

— Давай, щенок, — сказал Шёпот. Голос был близко, у самого уха, мягкий, ласковый. — Давай. Ты так хорошо это делаешь. Ты лучший из них, старик правду сказал. Одно движение руки. Ты делал его тысячу раз. Брось. Она даже кричать не будет, я знаю таких. Она будет

смотреть на тебя, пока у неё не лопнут глаза. Брось, и всё станет как раньше. Ты снова будешь камнем. Камни не спрашивают. Камням не больно.

Эйрик поднял факел.

Толпа выдохнула. Десять тысяч человек разом.

Ильва не опустила глаз.

— Я не скажу тебе, что ты можешь не делать этого, — сказала она тихо. — Ты сам знаешь, что можешь. Я скажу тебе другое. Если ты бросишь, я пойму. Правда. Я не буду тебя проклинать. Я буду там, с ними, и я буду стоять за твоей спиной, как они, и я тоже скажу: «Ещё один». И ты будешь слышать это всю жизнь. — Она помолчала. — А если не бросишь, ты не будешь знать, что будет. Никто не будет знать. Даже он. — Её глаза скользнули на его грудь, туда, где под кольчугой горело клеймо. — Даже он, Эйрик.

Клеймо дёрнулось.

Впервые за всё время. Не голосом, не теплом. Дёрнулось, как дёргается пёс на цепи, когда кто-то чужой подходит слишком близко к его миске.

— Брось, — сказал Шёпот. И в его голосе не было ласки. — Брось, щенок.

Эйрик смотрел на Ильву.

Он думал о Тиле. О его красных ушах. О булках с тмином. О пекарне на три печи, в окно которой он так и не постучал. Он думал о Марте Келлер, которая назвала его трусом. О Йонасе, которому он сказал «не знаю». О Матисе с камнем в ладони. Он думал о мальчике в Гриме, тридцать лет назад, который лежал на пепелище, пока не пришёл человек с тяжёлыми руками и не вынес его.

Мальчик не выбирал, выносить его или нет.

«Свобода — это право выбрать, кому служить».

Он вспомнил это и вдруг понял, что ни разу в жизни не выбирал. Ни прута на испытании. Ни факела. Ни Ордена. Ни Пламени. Его выбрали. Его вынесли, его вырастили, его научили, ему дали в руки факел и сказали: держи. И он держал. Тридцать лет. Тысячу раз. Не потому, что выбрал. Потому, что не знал, что можно выбирать.

Ильва смотрела на него.

«Ты не будешь знать, что будет. Даже он».

Эйрик опустил факел.

Не на хворост. В сторону. Медленно, будто рука стала чужой. Он опустил его вниз, к краю помоста, и разжал пальцы, и факел упал с высоты человеческого роста на брусчатку, и покатился, разбрызгивая смолу, и зашипел в луже у ступеней.

На площади стало тихо.

Так тихо, что Эйрик слышал, как бьётся его сердце.

Потом кто-то в толпе ахнул. Потом закричала женщина. Потом всё взорвалось.

* * *

Первым опомнился дознаватель с ключом.

Он стоял у подножия помоста, высокий, с длинным бледным лицом, тот самый, что вчера уводил Ильву в Тихие кельи, и ключ на тонком ремешке висел у него на груди, поверх рясы. Он посмотрел на факел в луже. Потом наверх, на Эйрика. Потом повернулся к балкону.

— Магистр! — крикнул он. Голос сорвался на визг. — Магистр, он...

Эйрик спрыгнул с помоста.

Он не спускался по ступеням. Он просто шагнул с края, с высоты человеческого роста, и тяжело упал на брусчатку, на обе ноги, в кольчуге, и камень под сапогами треснул. Дознаватель обернулся на звук. Он успел открыть рот. Больше он ничего не успел.

Эйрик схватил ремешок с ключом и рванул. Ремешок был крепким, сыромятным, и он не порвался. Вместо этого дознавателя дёрнуло вперёд, лицом в кольчужную грудь Эйрика, и что-то хрустнуло у него в шее. Он осел на колени. Эйрик рванул ещё раз, ремешок наконец

лопнул, и ключ остался у него в кулаке. Дознаватель упал на бок и лежал, держась за горло и хватая ртом воздух.

— Эйрик!

Это кричал Кассиан. Он стоял в двух шагах, у ступеней, там, где обещал стоять. Лицо у него было белым, как рубаха Ильвы. Рука на рукояти меча. Меч не вынут.

— Эйрик, что ты делаешь?! Эйрик!

Эйрик не ответил. Он повернулся к ступеням.

На ступенях стояли Хальм и Ренн.

Они оказались там раньше всех: братья всегда стояли ближе к помосту, они любили смотреть. Оба с мечами наголо. Хальм впереди, Ренн на ступень выше. Рыжие бороды, плоские носы, одинаковые широкие лица, и на обоих одно выражение, не злость и не страх, а простое крестьянское недоумение, как будто корова вдруг заговорила человеческим голосом.

— Брат, — сказал Хальм. Он говорил медленно, как говорят с пьяным. — Брат Эйрик. Отойди. Ты не в себе. Отойди, и мы...

— Пусти, — сказал Эйрик.

— Не могу, брат. Устав.

Эйрик вынул меч.

Его меч был длинным, в полтора локтя, тяжёлым, с простой крестовиной и рукоятью, обмотанной кожей. Он вынул его медленно. Хальм видел, как он его вынимает, и не двинулся. Ренн за его спиной тоже. Они знали Эйрика пятнадцать лет. Они ели с ним из одного котла. Они видели, как он рубил одержимых, и как рубил разбойников на дорогах, и как рубил тварей у прорех. Они знали, как он рубит.

Они не верили, что он будет рубить их.

Хальм поднял меч, неуверенно, клинком вперёд, будто прикрываясь от удара, которого не ждал.

Эйрик ударил.

Он не стал рубить сверху, как рубят на учебном дворе. Он ударил снизу вверх, наискось, коротко, всем телом, как бьют топором по полену, и меч Хальма отлетел в сторону, вывернувшись из руки, а клинок Эйрика пошёл дальше, вверх, под бороду. Хальм не закричал. Он только удивлённо выдохнул, и из-под рыжей бороды хлынуло тёмное, густое, горячее, на кольчугу, на ступени, на сапоги Эйрика. Хальм сел на ступеньку, как садятся отдохнуть после работы. Посмотрел на Эйрика. Глаза у него были голубыми, детскими, удивлёнными. Потом он лёг на бок.

Ренн закричал.

Не слово, просто крик, звериный, тонкий, как кричит зайчонок в силке. Он закричал и прыгнул на Эйрика со ступеней, сверху, занося меч обеими руками над головой. Это был плохой удар, отчаянный, крестьянский, в котором не было ничего, кроме горя. Эйрик принял его на клинок, и сталь ударила о сталь так, что посыпались искры, и Ренн всем весом налетел на него. Они сцепились. Ренн был сильным, почти таким же сильным, как Эйрик, и его лицо оказалось совсем близко: красное, мокрое, с оскаленными зубами, со слезами в рыжей бороде.

— Брат, — хрипел Ренн. — Брат, за что, брат...

Эйрик отпустил меч.

Он просто разжал пальцы правой руки, и меч повис на одном левом кулаке, и Ренн, который давил на него всем телом, качнулся вперёд, потеряв опору. Эйрик поймал его за горло правой рукой. Пальцы у него были большими. Шея у Ренна была толстой, бычьей, но пальцы сомкнулись на ней почти целиком. Эйрик сжал.

Он почувствовал, как под пальцами что-то лопнуло. Хрящ. Мягко, влажно, как лопается под ногой раздавленная лягушка.

Ренн выронил меч. Глаза у него вылезли из орбит, лицо из красного стало багровым, потом синим. Он схватился обеими руками за руку Эйрика и тянул, и бил, и царапал ногтями кольчужную перчатку, и Эйрик держал. Он держал так же, как держал прут на испытании, когда ему было восемь лет: не думая, не чувствуя, до конца молитвы. Ноги Ренна скребли по ступеням. Потом перестали.

Эйрик разжал пальцы. Ренн упал рядом с братом.

Так они и лежали на ступенях помоста, двое рыжих, похожих, как два полена из одной поленницы. И кровь Хальма стекала со ступени на ступень, медленно, густо, и капала в лужу, где шипел погасший факел.

На всё это ушло меньше времени, чем на «Отче Пламя».

* * *

Площадь кричала.

Эйрик слышал этот крик, но не понимал его. Крик был везде, со всех сторон, сверху и снизу, как вода, в которую нырнул с головой. Люди бежали. Одни от помоста, давя друг друга, падая, топча упавших. Другие к помосту. Кто-то карабкался на бочки с солью, чтобы лучше видеть. Где-то плакал ребёнок, тонко, на одной ноте. Где-то лопнула оглобля, и лошадь, вставшая на дыбы, била копытами по головам.

Кольцо клеймёных вокруг помоста распалось. Одни стояли, оцепенев, с мечами в руках, и смотрели на Эйрика, на Хальма и Ренна на ступенях, и не двигались. Другие бросились к нему. Удо с синей рыбой на руке. Сибальд. Ещё двое, которых Эйрик не помнил по именам. Они бежали, но толпа мешала им, бросалась под ноги, и они продирались через неё, расталкивая людей локтями и рукоятями мечей.

Эйрик взбежал по ступеням, через тела, оскальзываясь на крови.

Ильва стояла у столба. Она смотрела на него. Глаза у неё были огромными, и впервые за всё время, что он её знал, в них был страх. Не за себя. Она смотрела на его руки.

Он сунул ключ в замок на цепи у её пояса. Пальцы, липкие, скользкие, не попадали. Ключ стучал о железо, срывался. Эйрик выругался, впервые за много лет, грязно, по-солдатски. Ключ вошёл. Повернулся. Замок щёлкнул, и цепь сползла с пояса Ильвы и тяжело упала в хворост.

Оставались руки.

Цепь на руках была без замка. Её заклепали. Он понял это сразу, как увидел: толстая заклёпка, свежая, ещё блестящая, расплющенная молотком. Её не открыть.

— Ты не сможешь, — сказала Ильва. Голос у неё дрожал. — Это навсегда. Так они делают. Чтобы не...

Эйрик поднял меч.

Он ударил по цепи там, где она проходила через железное кольцо на столбе. Клинок ударил о железо, и звон пошёл такой, что заложило уши, и отдача отшибла руку до плеча. Цепь выдержала. На ней осталась только светлая щербина. Он ударил ещё раз, туда же. Ещё.

— Эйрик! — закричал снизу Кассиан.

Эйрик ударил в четвёртый раз, и меч его, хороший орденский меч, на котором за пятнадцать лет не появилось ни одной зазубрины, треснул у самой крестовины.

Он посмотрел на обломок в руке. Потом на цепь. Звено, по которому он бил, было погнуто, сплющено, почти перерублено. Почти.

И тогда снизу, из толпы, кто-то бросил факел.

Эйрик не видел, кто. Какой-то человек, мужчина в овчинной шапке, подобрал погасший факел из лужи, где ещё тлела смола под коркой, сунул его в жаровню у собора, и факел вспыхнул снова, и человек размахнулся и швырнул его. Факел перелетел через головы клеймёных, через ступени, через тела Хальма и Ренна, и упал в хворост у ног Ильвы.

Хворост, пропитанный смолой, вспыхнул сразу. Не постепенно, как разгорается костёр, а весь разом, с глухим хлопком, как вспыхивает масло на сковороде. Пламя поднялось стеной,

до пояса, до груди. Жар ударил Эйрику в лицо так, что затрещали ресницы и брови. Ильва закричала.

Клеймо на груди взвыло.

Не голосом. Радостью. Дикой, сытой, пьяной радостью, которая залила Эйрика с головы до ног, как вода из ушата. Он почувствовал её в зубах, в коленях, в корнях волос. Шёпот смеялся. Тихо, утробно, как смеётся человек над тарелкой горячей еды после долгого голода.

Эйрик схватил цепь голыми руками.

Он сорвал перчатки, сам не помнил когда. Он схватил цепь у погнутого звена обеими руками и рванул. Цепь была раскалённой, от пламени, которое уже лизало столб. Он почувствовал, как шипит кожа на ладонях. Старые ожоги, белые, бугристые, тридцатилетние, вспыхнули болью, будто их выжгли заново. Он не отпустил. Он держал, как держал прут. Он рванул ещё раз.

Звено лопнуло.

Ильва упала ему на руки. Рубаха на ней горела по подолу. Он сбил пламя ладонями, не чувствуя ладоней, подхватил её, лёгкую, как связка хвороста, и прыгнул с помоста. Прямо в огонь, через огонь, сквозь стену огня на краю помоста, и упал на брусчатку с той стороны, где не было ступеней и не было клеймёных.

Волосы у него горели. Он не знал этого. Ильва сорвала с себя тлеющую рубаху и набросила ему на голову и сбила пламя.

Они лежали на камнях, в грязи, в соли, высыпавшейся из опрокинутой бочки. Над ними ревел огонь. Помост горел весь, от края до края, вместе со столбом, вместе со ступенями, вместе с Хальмом и Ренном.

— Вставай, — сказала Ильва. — Вставай, Эйрик. Вставай.

Он встал.

* * *

Он плохо помнил, что было дальше.

Он помнил толпу, которая расступилась перед ним. Не от страха, от изумления. Он шёл через неё с Ильвой на руках, обожжённый, в окровавленной кольчуге, с обломком меча, который так и не выпустил из пальцев, и люди отходили, вжимались в стены, хватали детей. Кто-то крестился кругом и пламенем. Кто-то плакал. Одна старуха плюнула ему под ноги, а потом вдруг сунула Ильве в руки свой платок, серый, шерстяной, и отвернулась.

Он помнил коновязь у собора, где стояли кони Ордена. Уголь стоял там же, вороной, огромный, и бил копытом, и косил налитым кровью глазом на огонь. Эйрик посадил Ильву в седло, сам вскочил за ней. Руки не держали повод. Он намотал его на запястья.

Он помнил балкон.

Он поднял голову, уже сидя в седле, и увидел магистра. Морвен стоял там же, где стоял, один, опираясь на посох. Он не кричал. Он не звал стражу. Он смотрел вниз, на Эйрика. Лицо у него было спокойным. Не злым, не испуганным. Внимательным. Так смотрел он в детстве, когда Эйрик впервые сам, без подсказки, прочёл строку в Книге Пламени.

Рядом с собором, на крыше лавки, двое лучников Ордена уже натягивали луки. Эйрик видел, как они целятся. Видел, как Удо внизу, у коновязи, кричит им что-то и машет рукой.

Морвен поднял ладонь.

Одну руку, без посоха. Ладонью вниз. Медленно. Как успокаивают собаку.

Лучники опустили луки.

Эйрик смотрел на него ещё мгновение. На эту поднятую руку. Тяжёлую, с белыми рубцами на ладони. Потом ударил Угля пятками, и конь сорвался с места, и полетел через площадь, через рассыпающуюся толпу, через лотки с пирогами и опрокинутые бочки, в тёмный проулок, ведущий к реке.

Он помнил мост.

Каменный, на пяти арках, с часовней посередине. Уголь гремел подковами по брусчатке, и эхо билось под арками. Ильва сидела перед ним, прижавшись спиной к его груди, держась обеими руками за гриву. Она была почти голой, в одной исподней сорочке, и старушечий платок на плечах. Он чувствовал, как она дрожит.

Когда они проезжали часовню, ударил колокол.

Не в Вельде. В обители, за рекой, на скале. Колокольня, похожая на поднятый к небу палец. Колокол ударил раз, и звук прокатился над рекой, тяжёлый, низкий, чугунный. Потом ещё. Потом ещё, чаще, чаще, и это был не тот звон, каким звали к заутрене, и не тот, каким провожали мёртвых. Это был набат. Эйрик слышал его за тридцать лет всего дважды: когда в Вельде начался пожар и когда из прорехи под Штеттеном вылезло что-то, чему так и не дали имени.

Теперь набат звонил по нему.

— Это за тобой? — спросила Ильва. Зубы у неё стучали.

— За мной.

— Что теперь?

Эйрик не ответил. Он смотрел вперёд, туда, где кончался мост и начиналась дорога, а за дорогой серое поле, а за полем лес. Чёрный, зимний, голый. Он не знал, что теперь. Он никогда не знал, что теперь. За него всегда знали другие.

Клеймо на груди было тёплым. Шёпот молчал. Только один раз, когда они уже съехали с моста на мёрзлую дорогу и Уголь перешёл в тяжёлый галоп, он сказал, тихо и почти весело:

— Двое братьев, щенок. Двое. Ты даже не помнишь, как их звали.

Эйрик помнил.

Он повторял их имена всю дорогу до леса. Хальм. Ренн. Хальм. Ренн. Повторял, как молитву, как те мёртвые повторяли «ещё один». Он боялся, что если перестанет, то забудет.

* * *

Кассиан стоял у горящего помоста.

Он стоял там всё время. С той минуты, как факел упал в лужу, и до той, когда Уголь скрылся в проулке. Он не вынул меча. Он не побежал. Он стоял, и смотрел, и не мог пошевелиться, как не может пошевелиться человек во сне, когда на него идёт что-то страшное.

Он видел, как Эйрик убил Хальма. Одним ударом, снизу, под бороду. Он видел, как Эйрик душил Ренна. Голой рукой. Он видел лицо Эйрика в эту минуту. На нём не было ничего. Ни ярости, ни боли. Оно было спокойным, сосредоточенным, как у человека, который колет дрова.

Это было лицо, которое Кассиан видел у тысячи костров. Он всегда думал, что это лицо праведника.

Теперь помост догорал. Плотники Ордена и горожане таскали вёдра от колодца и плескали на угли, и угли шипели и плевались паром. Тела Хальма и Ренна вытащили из огня баграми. Они почернели и скрючились, и их нельзя было узнать. Только у одного ещё тлела рыжая борода.

Кто-то тронул Кассиана за плечо.

Он обернулся. Перед ним стоял брат Ортвин, гонец магистра, запыхавшийся, с красным лицом.

— Брат Кассиан, — сказал он. — Магистр зовёт.

Кассиан пошёл к собору. Ноги несли его сами. Он поднялся по внутренней лестнице на второй этаж и вышел на балкон.

Отец Морвен стоял у перил и смотрел на площадь. На догорающий помост, на рассеивающуюся толпу, на дым, который поднимался в серое небо и сливался с ним. Он не обернулся.

— Ты видел, — сказал он.

— Видел, отец.

— Он убил двоих наших братьев.

— Да, отец.

— Он освободил осуждённую. Он украл коня Ордена. Он отрёкся от обета на глазах у десяти тысяч человек. — Морвен говорил ровно, без гнева, будто перечислял покупки на ярмарке. — Ты знаешь, что за это полагается по уставу.

Кассиан молчал. Он знал.

— Ты поведёшь погоню, — сказал магистр.

Кассиан поднял голову.

— Отец, я...

— Ты, — сказал Морвен. Он наконец повернулся, и Кассиан увидел его глаза. Тёмные, тёплые, влажные. Магистр плакал. Беззвучно, не меняясь в лице, и слёзы текли по глубоким морщинам и терялись в седой щетине на подбородке. — Ты знаешь его лучше всех. Ты знаешь, куда он пойдёт, как он думает, где будет спать. Ты единственный, кто сможет его найти. И ты единственный, кто сможет его вернуть. Не убить, Кассиан. Вернуть. Ты меня понял?

— Понял, отец.

— Возьми двадцать человек. Лучших. Удо, Сибальда. Собак. Выезжайте сейчас. — Магистр вытер лицо ладонью, тяжёлой, обожжённой. — Девушку можешь убить, если она встанет у тебя на пути. Его — нет. Его я хочу видеть живым. Он мой сын.

Кассиан поклонился и пошёл к лестнице. На пороге он остановился.

— Отец, — сказал он, не оборачиваясь. — Почему вы опустили луки?

Долгая тишина за спиной.

— Потому что я люблю его, — сказал Морвен. — И потому что он ещё не закончил.

Кассиан спускался по лестнице и не понимал, что значит вторая половина этого ответа. Он понял только одно: камешек в сапоге стал больше. Теперь это был уже не камешек.

Над рекой, со скалы, всё бил и бил набат.

Гл

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.